

Пути христианской жизни

Антоний, митрополит Сурожский

От издателей

Читателю предлагается новый сборник бесед митрополита Антония Сурожского (только три из одиннадцати текстов уже были опубликованы в периодических изданиях)¹. Автор в представлении не нуждается; но можно сказать несколько слов о происхождении и "жанре" текстов. И лучше всего это можно сделать словами самого Владыки:

"В соборе у нас есть практика вне богослужебных бесед. Первые годы, что я был здесь, у нас была довольно большая русская группа, и тогда у нас бывали беседы еженедельно. Потом стали появляться люди английского языка; к тому времени я научился немножко английскому, и мы начали вести беседы по-английски. А потом был долгий период, когда русских бесед не было, потому что все русские, живущие здесь, говорили по-английски лучше меня, для них специальные беседы не нужны были. (...) За последние полтора-два года (т. е. с 1989 года), когда открылся путь из России на Запад и стали приезжать русские из Советского Союза, не говорящие на английском языке, мы возобновили русские беседы, и теперь они происходят раз в месяц. [...]

Четыре раза в году (Рождественским и Великим постом – Ред.) у нас бывает Суббота, которая называется "говение": два раза в год на английском языке, два раза в год на русском. Происходит это так, мы начинаем с молитвы, затем я провожу беседу, которая длится минут сорок, после этого период, приблизительно три четверти часа или час, когда все обязаны молчать. В храме никто не говорит, не мешает другим вмолчаться в тишину и внутреннюю и церковную: в церкви есть своя тишина, и я беспощадно требую, чтобы люди не мешали другим вмалчиваться в свои глубины. Затем мы вместе питаемся, то есть каждый приносит что-то, и мы в складчину едим то, что принесено, пьем чай. Потом вторая беседа и второе молчание, а затем общая исповедь..."²

Как видим, книга рассчитана на медленное, вдумчивое чтение. Владыка не "вещает", не поучает, он приглашает к совместному размышлению, – не случайно некоторые беседы перетекают в диалог, общее рассуждение, вопросы и ответы. Как все тексты митрополита Антония, это – живое слово, обращенное к каждому лично. К некоторым темам, примерам Владыка обращается вновь и вновь; у нас, читателей-слушателей, может возникнуть соблазн подумать: "это мы уже читали". Но, может быть, если эти темы и примеры столь глубоко запали в душу, ум Владыки – и нам стоит задержаться на них своим вниманием?

Итак, представьте себе: вы собрались небольшой группой прихожан в комнате при лондонском православном соборе; вокруг все тихо; и после краткой общей молитвы Владыка Антоний начинает свою беседу...

ПУТИ К БОГУ

Пути к Богу так же многоразличны, так же богаты, как человеческие души и как глубины Самого Бога, и путь к Богу начинается с веры. О вере я и хочу сказать несколько слов.

Часто люди путают понятия веры и суеверия или просто наивной доверчивости. На самом деле вера ничего общего не имеет с суеверием и очень мало – с наивностью. Вера начинается всегда с конкретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, что внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что невидимый мир существует, что Бог жив и действенен.

Вера не совпадает с самим опытом. Святой Макарий Великий в одной из своих проповедей очень интересно это раскрывает; он рассказывает, как человек, который переживает глубокий религиозный (можно было бы даже сказать – просто человеческий опыт), уходит в этот опыт совершенно; пока этот опыт имеет место, он не может ни **его** проследить, низа **собой** следить. Он и опыт совпадают совершенно. Но приходит момент, когда этот опыт перестает быть актуальным, – как море, отходит от берега; постепенно опыт стушевывается, делается прозрачным, и человек снова приходит как бы в полное, объективное сознание, может себя самого переживать, за собой следить, уловить то, что происходит в его душе. И вот в этот момент начинается область веры, то есть совершенной уверенности в том, что ставшее невидимым, не являющееся актуальным опытом данного момента – безусловно и совершенно достоверно. Человек еще весь полон переживаний, которые были в нем несколько секунд до того. Они для него так же достоверны, – нет, я скажу: **более** достоверны, чем вновь открывающееся осознание окружающего мира. И вот здесь начинается область веры. Человек уверен в реальности того, что теперь стало невидимым. Как я уже сказал, это относится не только к вере в Бога, это относится ко всем глубочайшим переживаниям: любви, захватывающей радости, горя, в котором мы можем потонуть. Это относится ко всему, что **так** глубоко, что мы всецело в это уходим. И когда мы из этого выходим, это не остается в нас только мертвым, умственным воспоминанием. Это прибавило к нашей жизни знание, опыт; и этот опыт, когда он относится к Богу (или к человеку), можно назвать верой.

И вот пути к Богу бывают разные; согласно словам и примерам Священного Писания, можно говорить об опыте апостола Павла – с одной стороны и с другой стороны – об опыте апостола Петра и прочих

апостолов.

Павел был гонителем, врагом Христа. Не потому, что он был безбожник, не потому, что он ненавидел веру; но потому, что представление, которое у него было о Боге, никаким образом не могло совместиться с тем, что он видел во Христе. Бога беспомощного, Бога уязвимого, Бога как будто побежденного, презренного он себе не мог представить, потому что он верил в Бога Святого, недоступного, сияющего такой славой, что человек слепнет, когда подходит к Нему. И он стал гонителем. Но всей душой он верил в Бога, он устремлен был к Нему, он жил Им и для Него. И он встретился лицом к лицу с воскресшим Спасителем Христом, то есть с Тем же Богом, Которого он видел беспомощным и Который вдруг явил Себя во славе: с Богом, носящим пронзенную гвоздями плоть, и в то же время сияющим славой вечной жизни.

Это в какой-то мере было и моим опытом: я открыл Христа именно как воскресшего Христа, в момент, когда впервые читал Евангелие для того, чтобы себя убедить или, вернее, убедиться в том, что все это неправда и что нельзя верить.

Но вы скажете: это исключительный опыт; какая же для меня в этом надежда?.. Надежда, может быть, гораздо большая, чем та, которую мы можем получить от исследования, от труда, отискания. Часто нам не дано искать. Книг – нет; Евангелие – недоступно; нет никого, кто бы наставил. И вот мы можем спокойно, с совершенной уверенностью думать и знать, что Господь может нас взыскать непосредственно, открыться глубинам нашей души в опыте, которого человек создать не может, но который Бог может нам подарить, именно даром. Так стал верующим протестант барон Николаи³, один из членов ранних кружков студентов в Ленинграде, в начале этого столетия, который в момент глубокого отчаяния, не будучи в состоянии найти Бога и одновременно чувствуя, что без Него жизнь бессмысленна, воскликнул: “Господи, если только Ты существуешь, открайся мне!” И вдруг на него сошел непостижимый покой, такая глубина переживания и радости, которой он до того никогда не переживал; и в этой глубине и радости он нашел Бога. Это кажется очень нелогичным. Но разве логичен опыт любви, опыт красоты? Его можно разложить потом и сделать как будто убедительным. Но не из составных частей он созидается, а от непосредственного, глубинного опыта, который более убедителен, чем все составные его части.

Но есть иной путь, путь других апостолов, путь Петра. Они Христа открыли постепенно, не внезапно. Они Его знали по деревне, в которой Он

жил; они Его знали как молодого человека, как юношу. Может быть, Он их поражал Своей личностью, но они еще не видели в Нем Бога. И постепенно Он им начал раскрываться в такой глубине, что они стали познавать, что Он – не как все. Постепенно, постепенно раскрылся Он им во всем величии Своего Богосыновства: **Сын Божий**, ставший человеком. Так случилось раскрытие веры в людях, которые годами, постепенно Его открывали, день за днем, год за годом. Это путь искания. Но и этот путь в какой-то момент совпадает с путем Павла; в какой-то момент что-то случается, чего никто не мог предвидеть: вдруг какая-то пелена разрывается, и человек **видит**, видит во славе, в сиянии, в глубине то, чего не познавал раньше.

Вы скажете: Христа мы не встречаем, как они встречали... Да; но мы встречаем людей, которые знают Христа, которые веруют в Него. Есть старое присловье: никто не может отречься от всего, чтобы последовать Богу, если не увидит на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... Иногда человек сияет. Иногда мы находим в человеке такую глубину, такой простор любви, самозабвения, который уже не принадлежит земле. Это нам раскрывает уже начало небесного.

Вот два пути, по которым можно пройти: один путь, требующий громадной, строгой подготовки, и другой путь – искания медленного, вдумчивого, который тоже в какой-то момент увенчивается встречей. И здесь начинается **вера**.

На пути к Богу очень важно уметь справедливо, умно делать различие между проблемами и препятствиями, которые стоят на дороге. Проблема – это задача, которую надо разрешить. Перед проблемами стоит ученый, мыслитель; перед проблемами стоит человек в течение всей своей жизни. Они не обязательно являются препятствиями: наоборот, они полны увлекательного интереса; для того, чтобы разрешать эти задачи, стоит жить. По отношению к Богу эти проблемы бывают иногда страшно мучительны; вместе с Иовом иногда хочется сказать: “Господи, я Тебя не понимаю! Я Тебя знаю как Любовь, верю в Тебя – и минутами так **страшен** тот мир, который Ты допускаешь”. Такими проблемами можно назвать проблемы зла, бессмыслицы, проблему, которая стоит перед человеком, когда он потерял ребенка – и не может понять: **как это** может быть. Это – богатая почва встречи между премудростью Божией и умом человеческим, и человек имеет **право**, больше того: он обязан взглянуть в эти проблемы, вдумываться в них и разрешать их с помощью опыта, **но всецелого** опыта, не только ума, а целостного человеческого опыта, и с помощью веры.

Но на пути к Богу стоят также преграды, которые не являются задачами или проблемами; они стоят между нами и самим вопросом о Боге, о мире, о человеке. Бывают нравственные преграды. Я помню человека, который мне говорил, что он всей душой хочет встретить Бога и **что-то** ему не дает. Я его спросил тогда: “Что бы вы сделали по отношению к человеку, который поступил плохо: вы его простили бы или осудили?” И он с искаженным злобой лицом сказал: “Я бы его изничтожил!” – “Благодарите Бога, – сказал я ему тогда, – что Он не является вам: если бы Он теперь встал перед вами, – Он, Который является всепрощением и Любовью, – вы не устояли бы на суде”...

Есть другие преграды: психологические, умственные, которые не дают нам добраться до самой задачи, до самой проблемы, которые не позволяют нам правильно, справедливо, умственно справедливо сформулировать самую проблему. Это – предвзятые мысли, какие у нас есть; например, нелепые, карикатурные представления о Боге, о Церкви, о Христе, которые не соответствуют ничему, которые надуманы, но раз мы их приняли, мы не можем разрешить этого вопроса, потому что такого Бога **нет**, и поэтому связанных с Ним вопросов решить никак нельзя.

И есть еще преграда: это – априорное наше отношение к тому, как подходить к вопросам жизни. Сейчас наука играет такую громадную роль (вполне справедливо, и я радуюсь этому), что нам кажется, будто все вопросы должны решаться так, как решаются научные вопросы, и мы хотим применить чисто научные методы к темам, к которым они неприменимы. Мы же не применяем методов физики к биологии, методов химии к истории. С какой стати мы должны применять методы физических наук к области человеческой души? Я когда-то занимался наукой, в частности, физикой. Всякий физик может разложить музыкальное произведение на составные части, разобрать их математически, превратить в кривые; это называется акустикой, но это не называется музыкой. После того как вы анализировали физическими приборами музыкальное произведение, у вас никакого представления нет о том, прекрасно оно или ничтожно, потому что восприятие красоты в музыке происходит на другом плане. И вот если мы хотим справедливо, умно подойти к проблеме о Боге, надо, с одной стороны, с большой смелостью формулировать эти проблемы, но формулировать их по отношению к **реальной** ситуации, то есть по отношению и к Богу реальному, и к человеку, и к жизни ставить вопросы с предельной остротой и справедливостью; и одновременно быть страшно осторожным, чтобы не воздвигать ложные преграды в этом искаении, создавая себе такие

образы, которые нам будут мешать и формулировать проблему, и ее разрешить, так как формулировка будет невозможна из-за карикатуры, с которой мы начинаем, а анализ проблемы будет невозможен, потому что мы к нему подойдем методами, применимыми к другим предметам, но ни к истории, ни к человеку, ни к духовной жизни, ни к Самому Богу неприменимы

О ПУТЯХ ВЕРЫ

Эта беседа должна быть вступлением в обмен мнениями, в разговор, потому что мы все друг друга знаем мало. Некоторые из вас, конечно, очень близко связаны с другими, а некоторые совсем друг друга не знают; и я думаю, очень важно, чтобы мы общались и обогащали друг друга и знанием, и, главным образом, опытом, и еще, может быть, больше – вопросами, которые у нас есть.

Я хочу сказать нечто о вопросах. Очень важно, чтобы мы перед собой ставили честно и со всей доступной нам правдивостью те вопросы, которые перед нами ставит и наша вера, и наша церковность, и наша жизнь в современном мире. Я делаю различие между этими тремя вещами, потому что наша вера заключается в том глубинном общении с Богом, которое покоится либо на жажде, на голоде, который живет в нас, либо на непосредственной уверенности и знании о Нем через общение, через приобщенность. Церковность же, с одной стороны, расширяет нашу личную веру, наш опыт о Боге, о тайне бытия, но, с другой стороны, она ставит перед нами вопросы, потому что Церковь в своем существе – одно, а Церковь, какой мы ее видим, испытываем, которой мы являемся – другое.

С одной стороны, мы говорим о Церкви как о Теле Христовом, о том месте, где пребывает Дух Святой, говорим, употребляя слова апостола Павла, об обществе святых, т. е. людей, которые всецело, до конца себя Богу отдали и посвятили. Но с другой стороны, мы все сознаем, и лично и коллективно, что мы грешники, что мы очень далеки от Бога и очень мало похожи на Христа, Который должен быть прообразом всякого христианина. Он Сам нам говорит: *Я вам дал пример, следуйте ему...* И в этом отношении, святой Ефрем Сирин писал, что Церковь это не общество торжествующих святых, это толпа кающихся грешников... Но разница между теми грешниками, которые составляют Церковь, и теми грешниками, которые Богу чужды, определяется именно этим словом “кающиеся”. Грешник – это человек, который душой болит о своем отчуждении от Бога, душой болит о том разладе, который царит в нем между всеми силами души и тела, душой болит о том разладе, который существует между ним и его ближними, начиная с самых близких и кончая далекими. И покаяние не заключается только в этом внутреннем глубоком переживании скорби, но также в обращенности к Богу. Скорбеть о себе, об обществе, о своем сиротстве в мире может каждый, но только верующий в Бога может силой этого чувства обратиться к Живому Богу,

зная, что Богом он сотворен, что Богом он любим, что Бог воплотился, стал Человеком для того, чтобы нас спасти – жизнью, учением и смертью и, конечно, Своим Воскресением; и что когда Бог нас зовет быть полностью человеком, Он не говорит о том, чтобы мы были “как можно лучше”, Он говорит о чем-то совершенно ином. Святой Иоанн Златоуст советует: если вы хотите узнать, что такое человек, не поднимайте глаз к престолам царей и вельмож; вознеситесь взором к Престолу Божию, и вы увидите Человека, сидящего во славе... Единственный Человек, Который полностью, совершенно Человек, это Господь Иисус Христос, потому что в Нем *полнота Божества обитала телесно*, потому что сама Его телесность пронизана Божеством, потому что Он Бого-Человек; и это - наше призвание.

Вот куда нас должно вести покаяние, куда наш взор должен быть обращен. И мы должны на этом пути ставить перед собой вопросы, которые рождаются из нашей веры, из нашей церковности, из нашего соучастия со всеми тварями в жизни сотворенного Богом мира: человеческого и вещественного, мира, за который мы ответственны перед Богом.

Бояться вопросов – нельзя; закрывать на них глаза – значит только разрушить наше настоящее и погубить наше будущее. Но почаству в одиночку мы не можем решать те вопросы, которые рождаются у нас в душе или которые рождаются от опыта жизни среди людей и в том мире, в котором мы живем. Вот почему я говорил вначале, что нам надо в этих встречах общаться, ставить перед всеми те глубинные и основные вопросы о вере, о жизни, которые перед каждым из нас встают. И, может быть, можно бы так сказать: не только вопросы о вере, но о нашем неверии, о наших колебаниях, о нашем искаении, о нашей растерянности, о нашей неправде житейской. (Я сейчас не призываю никого исповедоваться перед всеми; но вопросы эти имеют общее, универсальное значение).

И вот первый вопрос, который я хотел бы сейчас поставить – но **только поставить**, потому что я хотел бы, чтобы на него вы отвечали более полно, чем я собираюсь это сделать, это вопрос о том, как человек делается верующим? Почему?

Первое, что я хотел бы отметить: Бога никто выдумать не может. Можно выдумать идолов, можно выдумывать чудовищ, которые собой представляют человека, не ограниченного ничем ни в добре, ни во зле; но Того Бога, Который касается глубин души, Который может душу взволновать и наполнить, выдумать невозможно. И всякий человек, который говорит, что он познал Бога в какой бы то ни было мере, в какой

бы то ни было форме – это человек, который коснулся *края ризы Божественной*, человек, которому Господь открылся, может быть, неуловимо, но открылся.

Второе, что я хочу сказать: вера наша, если она вырастет в реальность, должна начаться с голода, с тоски, с искания или с чуда встречи. Архиепископ Кентерберийский Рамзей в одной из своих проповедей сказал, что в каждом человеке есть такая глубина, такой простор, который ничто не может заполнить; такой простор и такая глубина, которые могут быть заполнены только Божиим присутствием. В эту глубину, в эту бездонность мы можем кидать все, что земля может дать: и знание, и красоту, и живые чувства; и вместе с этим душа наша никогда не бывает до конца удовлетворена, – остается голод, тоска, желание. И это сознание многих пугает; многие, ощущая в себе эти различные чувства (может, и другие, которые я не назвал), стараются заглушить этот голод, забыться, сузить свою внутреннюю емкость, измельчать, если нужно – только бы не раскрыться так, чтобы денно и нощно **кричать** о своей тоске, о своей растерянности и голоде. А на самом деле, это, возможно, самое драгоценное состояние, какое может у нас быть, потому что только от этого чувства и от осознанности этого чувства может родиться настоящее, серьезное подвижническое искание того, без чего **жить** нельзя, а не только искание того, с чем жить было бы легче или удовлетворительнее и приятнее. Такой голод вызывает в душе человека сознание, что чем угодно можно поступиться для того только, чтобы найти то – или Того, Кого душа ищет, Единственного Того, Кто может заполнить, исполнить, преобразить душу, тело, все существо.

Бывает, что человек, в результате этого голода и узнав о Христе, услышав о Нем (помните слова апостола Павла: *вера от слышания, а слышание от слова Божия*), учуя: Да! в этом есть такая правда, такая красота, такой строй! – идет и ищет крещения. И справедливо это крещение ему дается в ответ на голод, в ответ на сознание, что **только** тут можно найти жизнь. Но крещение – не магическое действие; это не такое действие, которое непременно должно снять тоску, и голод, и искание. Приобщенностько Христу бывает различная. Апостол Павел в 6-й главе Послания к римлянам говорит, что, погружаясь в воды крещения, мы *умираем со Христом* и восстаем с Ним к новой жизни. И в другом месте он говорит, что мы носим в теле нашем *мертвость Господа Иисуса Христа*. И вот бывает, что человек ощущает преимущественно свою приобщенность к мертвости, к распятию, ко кресту, к трагедии воплощенного Богочеловека. А бывает, что, наоборот, он переживает как

бы обратное: умерев, он воскресает и живет этим сознанием воскрешенности. Но и тот, и другой приобщены ко Христу равно, хотя различно. Это не значит, что тот, кто приобщен ко Христу трагично, не соучастник Его Воскресения; человек, который не соединился со Христом, не может быть в такой мере, с такой острой чистотой быть приобщенным крестной смерти и крестному пути Господню. Это один путь, и многие этим путем идут; идут те, которые ищут того, что уже нашли, которые ищут **полной** приобщенности, не отдавая себе отчета, что, по милости Божией, они приобщены самой сердцевине тайны Христа: спасительным Еgo страданиям...

Бывает, что вера приобретается иным путем. Мы все знаем рассказ об обращении апостола Павла; но к обращению апостола Павла есть некая и предыстория. Как верующий иудей, он всецело, всей силой потрясающей своей души принадлежал Богу, хотел служить Ему единому, не шел ни на какие сделки или компромиссы, всецело и до конца хотел быть Божиим слугой и поклоняться Ему жизнью и смертью своей. И только потому что он был таков, мог Христос стать перед ним во славе Своего Воскресения, и **только** потому что он был таков, мог он **узнать** в этом видении Христа, а не усомниться: не привидение ли это?.. Есть люди, которые и в наше время таким или подобным образом находят веру.

Есть еще другой путь. Есть люди, которых Господь взыскал из глубины отчаяния; люди разного возраста, разных путей жизни, которые Бога не имели, которые никогда не встречали Бога, но которые встретили лицом к лицу жизнь: жизнь с ее богатством, жизнь с ее убожеством, жизнь со страданием и с радостью, – и которые не были поражены злом, но не могли быть удовлетворены и тем относительным добром, которое несет в себе жизнь без Бога; и которые дошли до такого предела, когда осознали, что они **не могут** продолжать жить, если нет предельного, всеконечного смысла в жизни. Таких тоже взыскивает Господь.

Поэтому нет такого пути человеческой души, нет такой стези, по которой человек идет, где бы он не мог встретить Бога или, скажу даже, мог бы Его не встретить. Но встретить Бога и **узнать** Бога можно только из глубин истосковавшейся, жаждущей души. И этого мы боимся; мы боимся раскрыться внутреннему голоду и внутренней тоске, мы **боимся** заглянуть в себя и увидеть: какая бездна пустоты!.. Мы боимся: а вдруг эту пустоту ничто не может заполнить?!. И вот тут вера, которая, как говорится в начале 11-й главы Послания к евреям, есть **уверенность в невидимом**, делается не только уверенностью, но и **верностью**: верностью своему исканию, верностью тому зову, который звучит из самых недр и глубин

человека. И если такая уверенность в себе самом, в пустоте, в голоде, в нужде, в тоске и, значит, в том, что не может не быть того, что исполнит все это смыслом и содержанием, – если такая вера делается верностью, если вера расцветает в подвиг: в подвиг верности через молитву, в подвиг верности через хранение заповедей жизни, тогда человек находит веру все глубже, и раскрывается его душа, как говорит Максим Исповедник, до пределов бесконечности.

И вот вопрос, который я хочу поставить сейчас перед вами, – вопрос очень личный. Я хочу сказать: есть ли среди вас человек или несколько, которые готовы сказать, каким образом они уверовали, каким путем Бог их привел к вере? Что случилось в их жизни и в душе решительного, решающего, что сделало из них верующих людей? Вот вопрос, который я хочу сейчас вам поставить. Если окажется, что никто из нас не может ничего об этом сказать – помолчим вместе, подумаем каждый о тех людях, которых мы встречаем и которые являются людьми веры. Откуда она у них? Как они могли вырасти в такую изумительную красоту и в такое величие? И когда мы разойдемся, унесем с собой этот вопрос, который я ставлю перед каждым из вас: Верую ли я? В какой мере?.. Господи, верую! Помоги моему неверию!.. Неверие свое легко найти – но где моя вера? На чем она покоится? Из чего она родилась?.. Поставим себе эти вопросы, потому что, как апостол Петр нас учит, мы призваны уметь дать отчет о нашей вере каждому человеку, который этого потребует, кому нужен свидетель, способный сказать: Да! не бойся, – то, чего ты ищешь, о чем мечтаешь – реально; я могу с достоверностью сказать: “**Я знаю**, что это правда”.

Мы посланы в мир для того, чтобы перед этим миром быть свидетелями. Можем ли мы быть свидетелями, если сами не сознаем своей веры, если мы не можем сказать человеку: я прошел тем же путем, и я тебе укажу хоть первые шаги на этом пути... Недостаточно быть верующим, – надо научиться давать. Никто большей любви не имеет, как тот, который душу свою, жизнь свою положит за другого. Это – предел; а до этого? – до этого первые шаги: протянутая рука, живое слово, и готовность, хотя бы даже со страхом в душе, засвидетельствовать правду Божию, Божию любовь, Божию святость...

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Является ли верой только живое общение с Богом, опыт общения или вера по слову, скажем, проповеди апостолов, еще без опыта, а просто по доверию их словам? Можно ли это тоже считать верой?

И да, и нет, я думаю. Апостол Павел говорит, что убедительность

апостольской проповеди не в хитросплетенности философских аргументов, а в проявлении силы Духа Божия. То, что, вероятно, поражало людей во Христе и (конечно, в меньшей мере) в апостолах: слова, которые ими говорились, пробуждали в людях вечную жизнь. Есть место в Евангелии, где Христос говорит толпе, и слова Его кажутся жесткими, трудными, и почти все люди отходят. Спаситель обращается к Своим ученикам и говорит: Не хотите ли вы тоже уйти от Меня?.. И апостол Петр Ему отвечает: Куда нам идти?! У Тебя слова *вечной жизни*... Но если вы прочтете Евангелие, вы увидите, что Христос, в общем, нигде не говорит о “вечной жизни” как таковой: не описывает ее, не дает никаких картин или представлений. Апостол Петр имел в виду, что, когда Христос говорил с ними, Он трогал где-то в недрах их души все, что способно к вечной жизни; эта жизнь вечная рождалась в них от живого Христова слова. Вероятно, и апостолы так говорили: они говорили о том, что знали, с такой глубиной, с такой силой, с такой уверенностью, что эта уверенность передавалась не логическими заключениями, а передачей этого чувства и сознания. И я думаю, что, да: *вера от слышания, и слышание от слова Божия*, но не просто от того, что это слово произносится.

Когда мы говорим о Божием слове, конечно, есть другой момент, а именно, что действительно Евангелие – это Божие слово, к нам обращенное, и в нем лежит та сила оживлять, пробуждать вечность в нас, которая была в словах Спасителя, когда Он проповедовал на земле; была она и у Его учеников. И в этом смысле, читая Евангелие, мы можем вдруг встретиться с ответом. Есть древнее слово о том, что красота – убедительная сила истины; и вот когда мы читаем Евангелие или когда мы слышим проповедь, если мы можем всем нутром воскликнуть: какая красота, как это прекрасно! – это значит, что до нас это дошло и что мы приобщились к этой истине. Если эта истина остается только логической, умственной, головной – она еще не наша, мы еще к ней не проснулись, не ожили. И вот в этом смысле, когда вы говорите, что мы можем поверить, слыша свидетельство других людей, – конечно! Кто из нас пришел к вере таким чудом, как обращение апостола Павла? Но слыша слово, которое звучит правдой, которое раскрывает в нашей душе чувство красоты, которое нам передает смысл, какого мы раньше не знали, мы приобщаемся хоть краешком души к опыту говорящего или к коллективному, если хотите – к соборному опыту Церкви, который выражается данным человеком. Но это не легковерие; недостаточно сказать: я такого-то человека уважаю, наверное, то, что он говорит, – правда, и поэтому я становлюсь верующим... Мы можем быть разбиты диалектически и

верующими не стать. И я могу вам привести в пример то, что случилось лет тридцать тому назад в России.

Молодой человек, студент, снимал комнату у одного священника. Он был убежденный юный безбожник; священник был умный, образованный человек, они вели бесконечные диспуты, и в конечном итоге студент оказался без аргументов, был диалектически разбит. Из этого он сделал умственное заключение: раз он умственно разбит, то он **должен** стать верующим. Он крестился, пошел в богословскую школу, стал священником, стал преподавать богословие и через несколько лет вдруг обнаружил, что он **не** верит в Бога, – что у него отняли его убеждение безбожника, но не дали веры. И он ушел и снова стал пропагандистом безбожия.

Вот в этом смысле быть убежденным умственно – и недостаточно, и никуда не ведет, если к этому не прибавляется какой-то внутренний опыт, какое-то преображение, какое-то раскрытие. И это случается у нас различно. У каждого из нас есть какой-то зачаточный опыт веры; общаясь с другими людьми, чей опыт веры не совсем одинаков, но схожий, мы обогащаемся теми элементами религиозного опыта, которого у нас нет; и поэтому к сердцевине той веры, опытной, живой, которая является **моей**, прибавляется еще нечто, что я могу принять, потому что оноозвучно тому, что я уже знаю как истину и как красоту. Это – опыт семьи, это опыт прихода, это опыт Церкви определенной эпохи и Церкви в глубине веков. И в какой-то момент к этому еще прибавляется нечто другое; в каждом из нас есть частичное **знание** о Боге, которое восполняется только одним, как говорится в Евангелии: *Бога никто не видел, но Сын, покоящийся в недрах Отчих, Тот нам Его явил ...* В конечном итоге, получая слово друг от друга, мы доходим до предела, где никто из нас не может сказать последнего слова: это слово говорит Христос. Но Он не только словом говорит, – Он **есть** Слово.

Скажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах: как соотносится свобода человека и Промысел Божий?

Свобода – неизбежное условие взаимной любви. Святой Максим Исповедник говорит, что Бог может сделать все; одного только Он не может сделать: заставить человека Его любить, потому что любовь должна быть свободным даром. Поэтому свобода – абсолютно основоположное состояние для мира. Бог есть любовь, Он Себя отдает до конца и открывает Себя нам так, чтобы и мы могли принять Его до конца, а принимая Его до конца – и себя Ему отдать. Поэтому наше представление о свободе как о возможности порой хладнокровного головного выбора – уже греховное

состояние. Состояние, при котором я могу хладнокровно выбирать между жизнью и смертью, между добром и злом, между Богом и Его противником – уже не свобода, не та царственная свобода, о которой говорится.

И в этом разрезе интересны слова, которые обозначают свободу. Латинское слово *libertas*, которое дало столько ответвлений по политической линии, – это состояние перед законом ребенка свободорожденного от свободных родителей. Он от рождения самовластен, свободен, принимается как свободный гражданин; а вместе с этим, говоря уже практически, он может эту свободу осуществить, только если он над собой имеет власть и не является жертвой своих желаний, своих страстей, своих страхов и т.д. Значит, это зачаточное положение, в котором человек рождается свободным, может бытьдержано только **подвигом** верности этой свободе, верности своему достоинству.

Второе слово, которое в этом смысле важно, интересно, это английское *freedom*, немецкое *Freiheit*: они оба происходят от санскритского слова, которое как глагол означает “любить” или “быть любимым”, а как существительное – “мой любимый” или “моя любимая”. И это указывает на то, что полнота свободы, сущность свободы – такая взаимная любовь, которая не ограничивает, не притесняет, не порабощает, не съедает как бы другого, а его выпускает в полноту бытия. Поэтому, когда мы говорим о свободе, мы говорим именно об этой свободе. И очень интересно, что в книге пророка Исаии, в отрывке, который читается под Рождество об Эммануиле, о Сыне, Который рождается от Девы, сказано, что раньше чем Он сумеет различить добро от зла, Он безоговорочно выберет добро, потому что Он рождается незапятнанный грехом и поэтому притяжения к греху у Него нет.

Теперь что касается человека и Промысла Божия. Мы живем в мире, который оторвался от Бога, который изуродован и в котором Бог действует, но ограничен нашей свободой. Он свободно, по любви, дает нам возможность быть тем, что мы есть. Есть на этот счет выкладка Хомякова (хотя очень сомнительная филологически), где он выводит слово “свобода” от двух славянских корней, которые значат “быть самим собой”; но в конечном итоге оно так и есть, даже если это филологически никуда не годится. Человек, с одной стороны, бывает призывают Богом, с другой стороны, бывает прельщаем сатаной. Бог человека призывает к любви, не обещая ничего, кроме любви, как бы не подкупая его ничем; сатана его призывает только обещаниями, которые каждый раз оказываются лживыми и которые каждый раз возобновляются: “согреши снова, потому

что ты не дрогнул; если бы ты дрогнул, все было бы хорошо...” И кто-то из отцов Церкви говорит, что человек стоит между этими двумя волями: призывающей к жизни волей Божией и призывающей – но прикрыто – к смерти со стороны сатаны. И его, человека, роль совершенно решающая, потому что от того, как он выберет – и судьба мира меняется. Поэтому соотношение человеческой свободы и Божьего промысла в том, что Бог человеку подсказывает его совестью, подсказывает словом Священного Писания, подсказывает людьми чистой жизни, подсказывает обстоятельствами жизни все время: Вот путь жизни... И от нас зависит выбрать его или нет; **заставить** нас Бог не может. Но в результате того, что мы так неуверенно и колеблюсь действуем, происходит, совершается воплощение Сына Божия, Который входит в этот мир, приобщается к нашей тварности, приобщается к ограниченности нашей тварности, порожденной грехом, не приобщаясь к греху, но приобщаясь к сломанности какой-то, и соучастует во всей трагедии человека.

Что значит: “Бог производит в нас хотение и действие по Своему благоволению” (Флп.2,13)?

Дух Святой в нас действует, зовет, возбуждает наше действие и всегда раскрывает перед нами путь жизни; но в какой-то момент решение за нами: принимаем мы или не принимаем, выбираем мы “за” Бога или “против” Него? Или просто коснеем, даже не выбирая ничего, а колеблясь так, что мы все равно ничего не совершаляем? Но все, что в нас есть доброго, все, что в нас есть предельно живого, – это от воздействия Божия.

По моему пониманию, человек достигает настоящей веры с помощью благодати Божией. Приходилось видеть людей, которые всю жизнь ходили в церковь, молились, искали Бога и страдали от этой жажды, тоски по Богу...

У меня на это есть очень определенное убеждение; но то, что это мое убеждение и что оно определенное, совершенно не значит, что это – правда. Поэтому я вам скажу, как я это воспринимаю. Человек не является как бы отдельной бусинкой, нанизанной в ожерелье. Мы все являемся продолжением предыдущих родов и наследуем и добро и зло; каждое поколение передает следующему то, чего оно достигло, и то, чего оно не смогло достигнуть. И мне кажется: бывает, что целый ряд поколений готовит веру, которая расцветет в одном человеке. Если вы возьмете, например, родословную Господа Иисуса Христа. Она не написана для нашего любопытства, она не написана из генеалогических соображений, а она о чем-то говорит. Если вы прочтете и оставите в стороне все имена, которые ничего не говорят никому, потому что ничего нельзя о них в

Ветхом Завете найти, вы увидите, что там есть ряд святых и есть ряд определенных грешников. У этих святых и этих грешников одно общее: падали ли они или восставали, они всецело, со всей убежденностью, со всей силой своей души и воли хотели служить Богу, даже когда они срывались и не могли этого осуществить. И это их желание, эта их устремленность, эти их усилия, удачные или сорванные, постепенно складывались вместе в поток, приведший в какой-то момент к рождению Пречистой Девы Богородицы, Которая в Себе соединила все прошлое и довела до совершенства, отдав все это Богу; и из Нее родился Спаситель Христос.

Я хочу вам сейчас дать один-другой образ, которые просто меня поразили в какой-то момент жизни. Когда мне было лет девятнадцать, я встретил одного священника, очень странного, которого я спросил (не объясняя ему, почему я спрашиваю, потому что мой вопрос должен был прозвучать так: “Каким образом вы, такой тронутый, решили стать священником?”): “Можете ли вы мне объяснить, почему вы стали священником, отец Михаил?” Он мне ответил: “Да: потому что один из моих предков совершил убийство”. Моя реакция на это была в мыслях: в таком случае лучше бы тебе священником не делаться; и я его спросил, как это у него связывается. И он ответил: “Потому что я унаследовал от этого своего предка всю его человечность, я ее принимаю на себя, и я **всё** принес Богу в дар, став священником. В моем священстве этот мой предок принесен Богу в жертву живую; он оправдан в этом моем священстве”... Я два раза сталкивался с вещами, которые сродни этому, в каком-то смысле. Я помню одну старую женщину, которая мне говорила, что ее смущает, что к ней приходят мысли, искушения, сомнения, которые всецело ей чужды; у нее такое чувство, что она тут ни причем. И когда мы начали докапываться до причин, до ее родителей и близких предков (очень-то далеко не зайдешь), то оказалось, что каждый раз, как то или другое находило на нее, это было искушение, или состояние, или греховность, или что-то, что можно было найти в жизни одного из ее предков.

Это очень страшно: мы как бы связаны настолько с нашими предками, что не можем из этого выйти...

Нет, можем выйти: вы сделайтесь настоящим человеком – и ваши предки в вас оправданы. Мы можем их потопить, но мы можем их и вознести; и в этом громадная надежда. Потому что если бы речь шла только о том, чтобы спасать свою шкуру для вечности, оно, может быть, и стоило бы, но стоило бы не много; а если думать, что от того, что я делаюсь настоящим человеком, все поколения до меня находят какое-то

восполнение, что я одним шагом их ввожу глубже, глубже в вечную жизнь, то это совершенно другое дело, для этого стоит жить. Может быть, слово это немножко громкое, но как бы “во искупление” или “во славу” тех, кто жил до вас, до меня, до каждого из нас. Это мои выкладки, это не святоотеческое учение, кроме того, что я сказал о родословной Христа, – это твердое святоотеческое учение. А то, что я сейчас рассказывал, это то, что мне пришлось в жизни встретить, и то, что, складываясь вместе со святоотеческим учением о родословной Христа, для меня приобрело очень живой смысл.

Я не знаю ярко Христа. У меня была глубокая тоска по Нему, я решила креститься, и осталось то же самое. Если бы меня спросили: “Какой ваш Христос?”, – я бы ничего не могла сказать, в этом смысле мое свидетельство о Нем было бы очень бледным, и меня удивляет, что можно жить относительно серьезно со Христом, в то же время не зная Его. И я решила спросить: как Вы Его знаете?

Здесь несколько разных моментов. Первое: в житиях святых мы находим целый ряд примеров, когда Господь, видя крепость души того или другого подвижника, допускал в нем эту пустоту, ему доверял эту пустоту, это подвиг верности без доказательств. Один пример, который мне стелется на годы и годы, это рассказ из жизни святого Антония Великого. Он как-то был искушаем, и день за днем боролся и боролся с искущением, **кричал** к Богу о помощи, и никакой помощи не было, и никакого чувства Бога не было. В конечном итоге он победил искушение, но в изнеможении упал на голую землю и лежал без сил. И в тот момент Христос ему явился. Антоний на Него посмотрел и говорит: “Господи, где же Ты был, когда я был в борении?” И Христос ему сказал: “Невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы только ты потерял мужество”. И в этом смысле, отсутствие живого опыта – это знак Божьего доверия к нам, к нашей верности.

Если говорить обо мне, то я должен к своему стыду сказать, что моя вера основана на чем-то, что мне сделало все легким, и поэтому мне скорее должно было бы быть стыдно, чем наоборот, кичиться нечем. Лет до пятнадцати я о Боге ничего не знал: я слышал это слово, знал, что об этом говорят, что есть люди верующие, но в моей жизни Он никакой роли не играл и для меня просто не существовал. Это были ранние годы эмиграции, двадцатые годы, жизнь была нелегкая, а порой очень страшная и трудная. И в какой-то момент настал период счастья, период, когда не было страшно. Это был момент, когда впервые (мне было 15 лет) бабушка, мать и я оказались под одной крышей, в одной квартире, вместо того

чтобы скитаться и не иметь собственного крова. И первое впечатление было блаженство: это – чудо, счастье... А через некоторое время меня объял страх: счастье оказалось бесцельным. Пока жизнь была трудная, каждый момент надо было бороться с чем-то или за что-то, каждый момент была непосредственная цель; а тут, оказывается, никакой цели нет, пустота. И я пришел в такой ужас от счастья, что я решил, что, если в течение одного года не найду смысла в жизни, я покончу с собой. Это было совершенно ясно. В течение этого года я ничего особенного и не искал, потому что не знал, ни где искать, ни как, но со мной нечто случилось. Я присутствовал перед постом на беседе отца Сергея Булгакова. Он был замечательный человек, пастырь, богослов, но с детьми он никак не умел говорить. Меня убедил мой руководитель пойти на эту беседу, и когда я ему сказал, что я ни в Бога не верю, ни в священника, он мне сказал: “А я тебя не прошу слушать, – просто посиди”. И я сел с намерением не слушать, но отец Сергий говорил слишком громко и мне мешал думать; и мне пришлось слышать эту картину о Христе и о христианине, которую он давал: сладкую, смиренную и т.д. – то есть все то, что в 14–15 лет мальчику не свойственно. Я пришел в такую ярость, что после беседы поехал домой, спросил у матери, есть ли у нее Евангелие, решив проверить, так это или нет. И решил, что если я обнаружу, что Тот Христос, Какого описывал отец Сергий, это Христос евангельский, то я с этим кончил. Я был практический мальчик и, обнаружив, что есть четыре Евангелия, решил, что одно непременно короче, и поэтому выбрал читать Евангелие от Марка. И тут со мной случилось нечто, что у меня отнимает всякое право превозноситься чем бы то ни было. Пока я читал Евангелие, между первой и третьей главами, мне вдруг стало **абсолютно**, совершенно ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. Я остановился, посмотрел, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не обонял – не было никакой галлюцинации, это была просто внутренняя совершенная, ясная уверенность. Помню, я тогда откинулся к спинке стула и подумал: Если Христос, **живой**, передо мной, значит, все, что сказано о Его распятии и воскресении, – правда, и значит, правда и все остальное... И это был поворот в моей жизни от безбожия к той вере, какая у меня есть. Вот единственное, что я могу сказать: мой путь не был ни умственный, ни благородный, а просто почему-то Бог спас мою жизнь.

ВНУТРЕННЕЕ МОЛЧАНИЕ

Святой Ефрем Сирин в одном из своих произведений говорит, что, когда Бог творит человека, Он вкладывает в сердцевину его существа все Царство Божие, и задача жизни заключается в том, чтобы копать, копать, пока не дойдешь до той глубины, где находится этот клад. И говение – это тот момент, когда мы должны собрать все свое внимание, суметь вслушаться в те глубины, из которых доходит до нас как бы звон колоколов града Китея. Вы помните древний рассказ о том, как один благочестивый город был спасен от осквернения тем, что Бог дал ему целиком уйти в глубины озера. Он утонул, но не погиб, и люди с чутким слухом, прислушиваясь, могли услышать из глубин звон колоколов. Вот так лежит в нас Царствие Божие, как уже освященный град, и однако как град, который вне досягаемости, потому что между ним и нами – суета. И из этой суеты нам надо вырваться; и такой короткий день, как день говения, все-таки дает нам возможность оторваться от суеты хотя бы на несколько часов.

В чем заключается эта попытка оторваться? Первая задача, которая перед нами стоит – это молчание, потому что разговором, общением мы друг друга вырываем из внутренней собранности, вносим друг в друга суету, отрываем друг друга от мыслей, от чувств, от представлений, которые нас занимали в этот момент, и заставляем войти в интересы и тревоги, которые нам совершенно порою чужды. Это вторжение в нашу тишину происходит самым различным образом. Человек собранно молчит, и вдруг к нему кто-то подходит и вырывает его из этой тишины – даже простым приветствием, не обратив внимания на то, что в **этот момент не надо было** к нему подходить. Бывает, что из молчаливой тишины мы вырываемся сами – чтением газет, прислушиванием к чужому разговору, вниманием к тому, что происходит вне нас и что, может быть, не имеет никакого значения для нас, только питает наше любопытство, даже не любознательность, а просто любопытство, поверхностность нашу. И очень важно в какие-то моменты найти в себе силу, решимость вступить в период молчания. Все духовные наставники говорят нам, что надо начинать день с такого короткого периода и кончать день тем же; а затем надо в течение дня вырывать какие-то моменты, когда вдруг мы можем сказать времени, течению наших мыслей, движению наших чувств и даже внешнему слову: «Остановись!»

Мы редко думаем о том, что, просыпаясь утром, мы как бы находимся

в положении древнего Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Лазарь лежал во гробе, бесчувственный, молчаливый, не имеющий над собой никакой власти; и голос Божий ему повелел вернуться к сознанию, вернуться к движению, вернуться к жизни земной, но уже не тем, каким он был, когда уснул сном смерти, а обогащенным каким-то непостижимым ни для кого из нас опытом, – опытом человека, который из жизни всецело вышел смертью, познал вечность и вернулся к земной жизни уже обогащенный этим опытом вечности. Когда мы засыпаем, мы тоже теряем сознание, теряем всякую власть над собой, всякий контроль над тем, что может с нами случиться, мы всецело находимся или во власти обстоятельств, или под покровом Божиим, говоря разными языками. Утро приходит к нам как голос Божий, говорящий: «Выйди, вернись из сна, но уже не тем человеком, которым ты был, когда засыпал вечером; вернись к сознанию нового дня». Мы себе не отдаем отчета, большей частью в том, что мы, выходя из сна, вступаем в совершенно новый, небывалый день. Этого дня никогда еще с начала мироздания не было. Этот день совершенно нов, он полон бесконечными возможностями. Отчасти он будет определен по отношению к нам действиями, словами, личностью других людей, событиями, которые связаны с ними. Но в значительной мере, как день и как события в жизни других людей, он будет определен нами, тем, что **мы** собой представляем и как мы будем действовать в нем, словом или поступками. И вот раньше, чем вступить в этот день необдуманно, случайно, мы должны остановиться и осознать, принять в наше сознание как можно глубже то, что вчерашний день прошел, отзвучал, и теперь мы находимся перед совершенной новизной нового дня, и что Бог нас в этот день посыпает – в идеале – вестниками от Него Самого. Бог видит в нас человека, который за свою прошлую жизнь познал Бога, познал себя самого, познал пути Божии, обрел то, что апостол Павел называет умом *Христовым*, то есть человека, который мыслит Христовыми мыслями, чувствует Его сердцем, действует Его волей, таинственно является как бы Его собственным присутствием.

Но это только в идеале, потому что в нас не только свет; в нас – чередование света, полусвета, а порой и глубокой тьмы, а где-то есть и постоянная полутьма. Но мы не должны забывать, что, по слову Евангелия, свет и во тьме светит, и хотя тьма его не принимает, то есть от него отказывается, борется с ним, она не может его победить. Свет ее пронизывает, как бы она ни сопротивлялась ему. И в каждом из нас есть какая-то доля света, которая не только нам, но и другим нужна. Эта доля света может заключаться в том, что мы знаем о Боге, в том, чему мы

научились в течение долгой или короткой жизни; это может быть просто наш человеческий опыт, который нам указал то, что дает жизнь, и то, что ее разрушает; то, что приносит в нашу жизнь свет, и тепло, и радость, и правду, и красоту, и то, что разрушает, размывает все это. Поэтому каждый из нас, вступая в этот новый день, должен войти в него сознательно, в совершенно спокойной уверенности, что он послан в этот день для того, чтобы принести в него добрую весть человеческую и Божественную.

Но с другой стороны, не мы одни вступаем в этот день; каждый человек, который проснулся в это утро и вступает в этот день, в том же положении, как и мы. Некоторые люди полны света и могут осиять нашу жизнь, некоторые из них в глубокой непроходимой тьме, а некоторые из них, как большинство нас – все мы, вероятно, – в полутиме, отчасти с проблесками света, отчасти с моментами тьмы. Свет и тьма или перемешаны, или чередуются, и от этого зависит, что мы принесем людям вокруг нас.

Если мы так рассматривали бы каждую встречу, каждое событие, если мы ставили бы перед собой вопрос о том, что я могу дать тому человеку, который передо мной, и что я могу от него принять, получить, – как внимательно мы относились бы друг к другу! Каждый человек был бы для нас вестником от Бога: либо непосредственно, благодаря тому, что Бог ему на душу положил осознанное или неосознанное живое слово для нас, либо благодаря тому, что человек умудрен опытом и может с нами поделиться своими неудачами, падениями, ужасом перед тем, что он испытал. Значит, мы и вестники, и приемники этой вести. И для того чтобы войти в этот день в таком расположении духа, мы должны уметь, проснувшись, умывшись, одевшись, перекреститься во имя *Отца и Сына и Святого Духа*, перекреститься с тем, чтобы **во имя Божие** вступить в этот новый, не оскверненный ничем еще день, в котором возможно **все**. И затем остановиться и подумать: с чем я вступаю в этот день? Конечно, я вступаю в этот день со своим прошлым, я не такой новый, как этот день, я не родился сегодня, но с чем я вступаю? с горем ли вчерашнего дня? с надеждой, с трепетным ожиданием радости? с готовностью исправить ошибки прошлых дней? с чем?.. И выбрав из всего этого то, с чем я намерен в этот день вступить, отречься от того отрицательного, которое, может, наполнило прошлый день или в этот день влилось из долгого прошлого, – и взглядываясь в то светлое, доброе, достойное и Бога и меня, что я ношу в себе и что я могу внести в этот день. Это требует какого-то времени, для этого требуется сесть и задуматься, и решиться твердо не

вносить в этот день того, чего не надо было ни принимать в душу, ни творить в прошлые дни. И, наоборот, внести то, что самое светлое в моей надежде, в моей вере, в моем сердце и уме. И для этого укрепить в себе **решимость**.

Святой Серафим Саровский говорил, что разница между погибающим грешником и спасающимся праведником только в одном: в решимости, то есть в том, чтобы поставить перед собой задачу и решить не отступать от той правды, которую мы избрали. Как бы нас ни соблазняла жизнь, какие бы ни предлагала нам вызовы, мы в состоянии сказать “Нет!” тому, что недостойно и нас самих и Бога. Войти в этот день с такой готовностью нелегко: это требует внимания к себе, это требует постоянного наблюдения над собой, то есть бдительности. Требуется не быть озабоченным о себе, а – следить за движениями сердца, за мыслями, за движением воли и отрубать решительно то, чего не должно быть.

Но этого недостаточно. Своими силами мы не можем совершить полностью ничего из того, что достойно и нас самих и Бога. Нас самих – потому что мы все созданы по образу Божию, призваны к Его подобию, мы все призваны быть живыми иконами Спасителя Христа; и больше того. Икона – предмет неодушевленный, а мы крещением стали живыми членами, частицами Тела Христа. Как говорил отец Сергей Булгаков, мы – продолжение через всю историю воплощенного присутствия Самого Христа, мы делаемся Его Телом, мы делаемся местом вселения Святого Духа. Поэтому только силой Божией мы можем осуществить то, к чему призваны. Спаситель нам говорит: *Без Меня вы не можете творить ничего*, вы как малые ветки, которые растут на дереве. Оторвавшиеся от дерева ветки, отрубленные, отпавшие, высохшие, плода уже не могут принести. Только питаясь тем животворным соком, который бежит по стволу и по большим ветвям, мы, малые ветки, может быть, даже листочки этого таинственного дерева, можем жить и приносить плод.

На это, конечно, можно возразить: “Что мы можем делать? Мы так немощны, мы так бессильны...” Мы должны опять-таки вспомнить, как апостол Павел молился Христу, прося о Его силе для выполнения той задачи, которую Бог на него возложил, и услышал голос Христа: *довольно тебе Моеей благодати, сила Моя в немощи совершается..* В какой немощи? Конечно, не в трусивости нашей, не в косности, не в лени, не в нашей готовности изменить самому высокому ради того, чтобы удовлетворить самое низкое в нас. Немощь, о которой он говорит, иная: это сознание своего бессилия – и полной уверенности, что если предоставить себя полностью Богу, то Он и в нас может совершить то, что Он совершил

в святых. И апостол Павел, познав, что эта немощь заключается в том, чтобы быть совершенно гибким в руке Божией, совершенно прозрачным Его свету, совершенно отданым Его воле, ликующе после этого говорит: *И потому я буду хвалиться (т.е. радоваться) только о своей немощи, чтобы все была сила Божия...* И в другом месте своих посланий он говорит: *Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа...*

Мы не можем, конечно, сравнивать себя с апостолом Павлом ни по величию, ни по силе, но мы можем быть подражателями его. Он сам нам говорит: *подражайте мне, как я подражаю Христу...* Это не значит: «будьте мне подобными, как я стремлюсь быть подобным Христу»; это не значит, будто он гордится и говорит, что уже уподобился Ему; но что он устремлен всем своим существом следовать за Христом, стать подобным Ему, и он нам говорит: как я раскаялся в том, что был чужд Христу, и вы раскайтесь в этом, перестаньте быть чуждыми Ему... Павел был гонителем, а мы безразличны; Павел был активным противником христиан, но ради Бога; а мы косны и безразличны из-за себя, своей лени, нашей косности. Встретив Христа, Павел ни на одно мгновение не усомнился Ему отдать жизнь, и он нам говорит: поступите, как я.

А дальше нас будет вести Бог, та сила Божия, которая в немощи совершается. И вот начиная этот день, мы должны войти в глубокое общение с Богом, вмолчаться в наши собственные глубины в Его присутствии. Мы молчать не умеем. Мы не умеем молчать ни когда мы друг с другом говорим, ни даже когда мы одни. Вы, наверное, все замечали, как мы ведем постоянный диалог с самим собой, как мы постоянно сами с собой разговариваем. Нам надо от этого отучаться. И отучаться мы можем во-первых, тем, чтобы научиться слушать другого человека, когда он с нами говорит. Вам может показаться странным такое предложение, однако подумайте: как часто, как постоянно бывает, что человек с нами говорит, мы следим за его речью, но одновременно в нас идет комментарий на эту речь, мы готовим ответ на то, что он говорит, мы не слушаем его, мы слушаем его на фоне собственных мыслей. Надо научится внутренне молчать и слушать. Слушать не только слова, – слова мы можем слушать и так, как я только что описывал, ведя постоянный комментарий, готовя себя к ответу. Мы должны научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса, за звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает: нам человек говорит одно (я не хочу сказать: лжет нам, а говорит нам ровно столько, сколько, он думает, мы способны принять и понести на себе), а на самом деле за тем

малым, что он нам говорит – целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как прекрасно сказано: «Мало слов, а горя реченька, горя реченька бездонная». И как часто за словами мы не слышим (чаще всего – намеренно) крика души, потому что **услышать** этот крик значит душой отзоваться, значит взять на себя риск принять горе, нужду этого человека в свое сердце и уже **никогда** от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания или, если жизнь нас разведет с этим человеком, требует молитвенно никогда не забыть этого крика, который мы один раз услышали от этого человека. Если вам нужен пример, я могу дать пример.

Как часто бывает, что мы посещаем больного, и нам **страшно** понести его крест, взять на плечи его судьбу, связаться с ним так, что уже не уйти от него – я не говорю: в пространстве, из этой комнаты выйти, а – не оторваться. Мы спрашиваем человека: «Ну, как ты себя чувствуешь сегодня?» И человек, видя в наших глазах надежду, что он нас не свяжет, отвечает: «Да ничего, знаешь, кажется, даже лучше, ночь была спокойная»... И мы не хотим слышать того, что в его голосе, а слышим только слова, потому что только **их** мы хотим слышать, и говорим: «Ах, как я рад!» И мы спаслись от нужды сострадать, принять человека в сердце **навсегда**.

Так бывает с каждой встречей. И вот если мы научимся слушать слова без комментариев, за словами прислушиваться к голосу, вглядываться во взор, в глаза этого человека, воспринимать его, насколько мы способны, всецело, то сколько-нибудь научимся тому внутреннему молчанию, которое постепенно нас может привести к слушанию собственных наших глубин.

Есть и другой способ научиться слушать: это внимательное чтение Евангелия, также проводимое так, как я говорил только что о человеческой речи. Мы читаем Евангелие с надеждой найти в нем то, чего нам хочется: утешение, укрепление, право жить и поступать так, как мы поступаем и живем. Либо мы читаем его со страхом, как бы не услышать чего-нибудь, что нарушит наш покой, что перед нами поставит неумолимое требование: раз ты это услышал, раз ты это понял – ты дальше не можешь жить, мыслить, чувствовать, желать так, как раньше... Мы читаем Евангелие с надеждой на то, что услышим желаемое, и с осторожностью – как бы не услышать того, чего мы не хотим слышать. Нам надо научиться слушать евангельское слово, слушать Христа, Который говорит с нами лично, с намерением услышать Его голос, **что бы Он нам ни говорил**, и, услышав,

не спешить забыть, а, наоборот, себе отметить, зарубкой отметить то, что мы услышали, потому что в этот момент Христос Спаситель лично к нам обращался, лично с нами говорил. Неужели, если бы Христос телесно встал теперь перед нами и обратился к каждому из нас с одним только словом, которое относится к Его жизни, которое, как Христос говорил, будто меч разделяет свет и тьму, – неужели мы сказали бы: «Отойди, Господи! Отойди, не хочу слышать...» Конечно, нет; у нас не хватило бы безбожия, не хватило бы бесчувственности на это, бессовестности. И однако, не сознавая того, мы делаем это постоянно, когда читаем Священное Писание, когда слышим его в храме.

Мы не постоянно читаем Евангелие, мы читаем очень многое другое, но опять-таки, читаем без той открытости, без той внутренней молчаливости, которая нам дала бы возможность приобщиться к тому, что данный писатель нам говорит. Мы читаем с внутренним комментарием, мы читаем критически: это мы воспринимаем, это мы критикуем, это нам кажется ненужным... Но редко-редко мы читаем даже великих писателей с открытостью (я не говорю: ничтожных писателей, но и они имеют, что сказать, как каждый из нас в нашем ничтожестве может чудом другому человеку сказать то или другое на пользу). Мы должны научиться вчитываться в то, что читаем, не для развлечения, а для приобщенности к тому опыту жизни, или мечтам, или фантазиям, которые этот писатель вложил в книгу или статью. И опять-таки, это мы можем сделать, учась молчать внутренне; но делая это, мы можем научиться молчать.

И иной пример, который может быть вам более понятен, чем мне, хотя он мне понятен косвенно: музыка. Мы можем смотреть на партитуру, но если мы не музыканты, мы ничего не видим, кроме листа бумаги и знаков, которые нам непостижимы. Мы можем читать ноты, но только читать, не связывая в настоящую мелодию; мы можем развиться и глазами читать знаки, а внутренним нашим слухом слышать мелодию. Если мы слушаем эту же партитуру на концерте, мы можем уйти в звуки, звуки могут нас унести куда-то, и через эти звуки мы можем приобщиться к миру иному. Но за этими звуками стоит композитор с его опытом не музыки, а жизни, самого себя, с опытом красоты и безобразия, с опытом радости и горя, с опытом надежды и отчаяния, с опытом всей глубины человеческой жизни, и своей и чужой. А за этим еще лежит весь простор жизни, из которой этот композитор уловил только некоторые звуки, целое море, то море звуков, о котором Лермонтов писал; и за этим – тайны жизни.

Вот так мы можем восходить, если только оторвемся от видимого,

чтобы через молчание дать проявиться невидимому. В своем роде святитель Феофан Затворник об этом писал, что, если мы глядим в ручей, в котором вода полна муты, мы видим только муть, а дна ручейка не можем увидеть; но если этот ручей несет прозрачные, чистые воды, то через их прозрачность мы можем видеть дно ручья, каждый камушек, все, что в нем лежит. И вот задача жизни в том, чтобы перестать мутить в себе поверхностные слои, чтобы можно было взглянуться в глубины собственной души, те глубины, о которых говорит апостол Павел, говорят подвижники, духовные наставники...

* *

Продолжая то, что я говорил в конце первой беседы, я хочу вам дать пример, который я уже давал несколько раз, но не все его слышали, и он все-таки имеет свое значение.

Вскоре после моего рукоположения я был послан в старческий дом для совершения службы. После службы ко мне подошла очень ветхая старушка (и когда я говорю, что она была очень ветхая, это вполне справедливое определение: ей было тогда сто два года) и обратилась ко мне с вопросом: «Отец Антоний, я хотела бы научиться молиться, что мне для этого сделать?» Я на нее посмотрел с удивлением и говорю: «Обратитесь к кому-нибудь, кто об этом знает!» Она ответила мне на это: «Я уже спрашивала тех, кто знает, но никогда не получила толкового ответа, так я подумала, что раз вы, вероятно, ничего не знаете, может быть нечаянно что-нибудь полезное скажете». Ну, это меня, конечно, укрепило, и я ей сказал: «В чем же дело?» – «Вот, – говорит она, – я молюсь все время и никогда не могу ощутить Божия присутствия...» И тогда я действительно поступил так, как она ожидала, то есть «ляпнул» первое, что мне пришло в голову: «Как вы можете ожидать, что Бог сможет слово вставить, если вы все время говорите?» – «А что мне делать?» Я говорю: «Вот что. Вы утром, когда встанете, уберите свою комнату, приготовьтесь, спрячьте в какой-нибудь укромный уголок то, что составляет беспорядок в каждой комнате, зажгите свою лампадку, сядьте уютно в кресле и не молитесь. Вы, я знаю, умеете вязать, так вы перед лицом Божиим вяжите себе спокойно и молчите. Смотрите на фотографии своих родных, смотрите в окно, ничего другого не делайте»... Через неделю я снова там служил, и старушка (я уже с дрожью ожидал ее прихода) пришла и говорит: «Знаете, получается!» Я был в совершенном изумлении, потому что я надеялся сверх всякой надежды, но ожидать ничего не ожидал. – «А что же получается?» – «Вы знаете, я села вязать, и сначала я только слышала звук моих спиц. Потом этот звук стал монотонным ритмом, я его

слушала и слушала, и постепенно благодаря тихому звуку моих спиц я вдруг почувствовала, как тихо вокруг меня. Я стала прислушиваться к этой тишине, и вдруг мне стало ясно, что в сердцевине этой тишины **чье-то** присутствие. И я поняла, что Бог тут. А дальше (говорит она) я и не молилась, а просто сидела в Божием присутствии».

Это очень похоже на то, что одному западному святому XIX века во Франции сказал крестьянин. Этот святой был настоятелем маленькой деревенской церкви; и он заметил, что какой-то старик всегда сидел в церкви, просто сидел. Он его спрашивает: «Дедушка, что ты часами делаешь в церкви? Губами ты не шевелишь, творя молитву, пальцы твои не бегают по четкам, – что ты делаешь?»... И тот на него посмотрел и говорит: «Он на меня смотрит, я на Него смотрю, и нам так хорошо вместе». Вот то состояние, о котором я старался говорить в течение беседы: о внутренней тишине, о том внутреннем молчании, которое позволяет вслушаться во внешнюю тишину и в глубине этой тишины ощутить больше, чем тишину, ощутить присутствие, которое является предельным безмолвием, но безмолвием, полным жизни, способным дать жизнь.

Но, конечно, это только начало. Я говорил о том, как начать день. А что в течение дня? В течение дня каждому из нас приходится встречаться со множеством людей, заниматься множеством вещей, делать разные дела. Что тогда нам делать? как нам быть? как не терять тот внутренний строй, который мы, может быть, хоть на время получили в течение утреннего молчания, утренней тишины? На это есть несколько ответов. Первый ответ в том, что мы не заняты постоянно каждую минуту дня, есть минуты перерыва. И вот в эти минуты перерыва мы можем всегда заняться восстановлением внутренней тишины. Мы не все время мечемся; мы не все время разговариваем с кем-нибудь; мы не все время что-то делаем. Но если даже мы делаем многое, есть эти минуты перерыва. А иногда можно эти минуты перерыва и создавать. О себе говорить, конечно, неуместно, но я скажу все-таки, что когда я был врачом и ко мне приходили пациенты, в течение всего времени, когда у меня была какая-то внутренняя сосредоточенность, я занимался пациентами, а когда чувствовал, что эта сосредоточенность меня покидает, я пациенту говорил: «Я потерял собранность, мне надо помолиться. Если вы верующий, помолитесь вместе со мной, если неверующий, сидите смирно и не мешайте», – и становился на колени и в течение полуминуты или минуты просто собирался перед лицом Божиим; а потом продолжал работу. И это вполне возможная вещь. Не обязательно делать это так демонстративно. Можно на минуту

«отключиться» и войти в себя; можно сказать человеку: «Простите меня, дайте мне минуту, я так устал сейчас», или что-нибудь в этом роде, – и вновь войти в себя. Это очень важно.

Но, с другой стороны, надо принять в учет то, что я старался сказать в самом начале. А именно: всякая встреча может быть встречей под Божиим покровом, может быть встречей, в течение которой я должен что-то принести другому или должен от другого нечто получить. И потому, если мы к каждой встрече, к каждому событию нашей жизни будем относиться так, то окажется возможным – что бы ни получалось, что бы ни случалось – не терять связи с Богом.

Опять-таки есть русская сказка. Какому-то мудрецу было поставлено три вопроса, на которые он должен был ответить в течение двадцати четырех часов, а расплата, если он не сумеет ответить, грозила очень неприглядная: его будут сечь публично на площади столицы. Он стал обходить, сколько сил хватило, других мудрецов, и ни один не мог ответить на его вопросы. На обратном пути, подавленный, несчастный, предвкушая уже и позор и страдание, он шел мимо маленькой девчонки, которая пасла гусей. Девчонка на него посмотрела, спрашивает: «Что у тебя такой несчастный вид?» – «Ах, – говорит мудрец, – ты не поймешь...» – «Да нет, ты скажи». – «Да вот, мне поставили три вопроса, я на них ответить не могу, а за это меня будут сечь всенародно». – «Какие же вопросы тебе поставили?» – «Да зачем тебе их говорить, ты все равно не поймешь». – «Да нет, скажи». И он ей сказал: «Первый вопрос: какое самое важное время в жизни человека? Второй вопрос: кто самый важный человек на свете? А третий: какой самый важный поступок можно совершить?» И девчонка на него посмотрела, говорит: «Ты находишь, что это очень трудно! Это очень просто! Самый важный момент в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое уже ушло, а будущего еще нет. Мгновение, в котором мы живем, – единственное, которое в нашем распоряжении. Самый важный человек – тот, который перед тобой вот сейчас, другого же нет. А самое важное дело – в **это** мгновение для **этого** человека сделать то, **что надо**».

Если бы мы могли рассуждать так, как эта маленькая девочка, пасшая гусей, как богаты, содержательны смыслом были бы все наши встречи! Не обязательны такие встречи, где мы говорим друг другу «вечные истины», что-то особенно важное, а мгновение, когда мы можем человеку, у которого на лице написана тревога или горе, улыбнуться или просто на него так посмотреть, чтобы он понял, что мы его **увидели**, что он существует, что он не пустое место. Или в других случаях на вопрос,

который нам, может быть, кажется пустым, но для данного человека важен, мы можем дать не поверхностный ответ, а вдумчивый, пусть даже он сам по себе кажется и не ответом. Можно человеку сказать: «Знаешь, ты ставишь вопрос, который кажется очень простым, но над которым я никогда не задумывался. Я тебе сейчас ответить не могу, мне надо подумать о том, о чем ты спрашиваешь или о том, что ты говоришь». Во всяком случае, если мы просто будем честны до конца, правдивы до конца, то всякая встреча может быть действительно **встречей**, в полном смысле слова, не столкновением и не мимолетным прикосновением, а настоящей встречей лицом к лицу.

Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос исцелил слепорожденного. Ведь подумайте: этот человек открыл глаза, и первое, что он увидел после долголетней слепоты, был взор Божий, покоящийся на нем. В этом взоре он увидел и сострадание, и любовь, и радость... И каждый из нас (в каком-то смысле и, конечно, в очень небольшой мере) может по отношению к другому быть таким взором, таким слухом, таким пониманием, таким благоговейным молчанием. Если мы так проводили бы дни, если мы считали бы, что каждая встреча значительна, каждый человек значителен, то и наша жизнь обогатилась бы, потому что пустых встреч не было бы, и жизнь вокруг нас стала бы глубокой и богатой содержанием. И тогда ни в какой момент не могло быть того, что мы так болезненно переживаем: потеряли себя самого и утраты Бога. Мы себя не теряли бы, и Бог не исчезал бы из нашего сознания или из нашего внутреннего восприятия. Это очень важно. Я помню одну монахиню, которая в своем дневнике написала: «Господи, по обстоятельствам моей жизни я не в состоянии бывать в церкви столько, сколько бы хотелось, читать Священное Писание и молиться, потому что нахожусь постоянно среди людей. Но одному я научилась: что каждый человек является Твоим образом. И глядя на каждого человека, я молюсь Тебе, общаясь с каждым человеком, я ему служу, словно служу Тебе лично...» Как собранна была бы наша жизнь, если хоть отчасти мы могли бы так относится друг к другу и к себе самим! Тогда, с наступлением вечера, мы могли бы стать перед своей совестью, и перед своей жизнью, и перед Богом, и перед лицом всех людей, кого мы встретили, опять-таки не с чувством, что день прошел пустым, а с чувством – да, было хорошее и дурное, было добро и зло, было упущенное и совершенное. Мы могли бы стать перед своей совестью и покаяться: да, я растратил такие-то возможности, я прошел мимо таких-то людей, я себя потерял в такие-то моменты... И к Богу могли бы повернуться и сказать: «Прости, Господи! Ты меня послал в гущу этой

жизни, и это было напрасно. Ты на меня понадеялся, и я не оправдал Твои надежды...

Я должен прибавить еще одно, относящееся к устроению своей души. Все, о чем я до сих пор говорил, относится непосредственно к нам, к нашим думам, к нашим словам и чувствам. Та молитва, о которой я сейчас упоминал, те размышления, на которые я указывал вначале, это личные воспоминания или личная подготовка к наступающему дню. Но есть еще другое. Нам даны молитвы святых, которыми мы можем пользоваться, но мы должны ими пользоваться с добросовестностью и серьезно, правдиво. Вот что я хочу этим сказать. Каждая молитва в молитвослове, надписана она именем того или другого святого или нет, в какой-то момент вырвалась из живой души человека, как кровь бьет из раны. Это был момент восторга, радости, благодарности или покаяния или отчаяния, но это всегда был искренний крик души. И поэтому каждая молитва содержит опыт, который, наверное, превосходит опыт каждого из нас. Никто из нас не может сравниться с Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, Марком Подвижником, Симеоном Новым Богословом и т.д., но каждый из нас в каждой из этих молитв может уловить нечто, что он уже опытно знает, чему он хоть с края прикоснулся. Ожидать, что мы можем прочесть все молитвы утреннего или вечернего правила, сливаясь с мыслью, с чувством, которые в них вложены, немыслимо. Дай Бог, чтобы мы могли слиться с опытом одного из этих святых, выраженным в одной из этих молитв. Но ожидать, что мы можем слиться с опытом одного из этих святых в целом ряде его молитв и тем более с опытом целого ряда святых – невозможно. Поэтому мы должны относиться к этим молитвам, как к школе, раскрывающей перед нами опыт таких людей, которые нас безмерно превосходят, но которые, будучи людьми, все-таки нам сродни. Вот та или другая молитва. Я ее прочту внимательно, ставя перед собой вопрос: что я уже могу сказать искренне, правдиво, изнутри своего опыта? Тут одна фраза, одно слово задевает мою душу. Что в эту молитву вложено, какое знание о Боге, о себе самом, о жизни, о людях? что я знаю похожее, что роднит меня с опытом данного святого?..

Так надо ставить вопросы не в момент, когда уже будешь совершать эти молитвы, а в какие-нибудь интервалы, когда есть время. А время – я повторяю – у каждого из нас есть, потому что мы очень много времени растратываем впустую, даже не в свое удовольствие, а – тоскуя о пустоте жизни, о пустоте своей души и сердца. Если мы так задумаемся над той, над другой молитвой, мы начнем в каждой из них что-то прозревать, что-

то узнавать и приобщаться к опыту того или другого святого. И когда мы будем читать утренние или вечерние молитвы, некоторые из них мы будем читать уже от сердца и от ума. Нам будет казаться, что все содержание мы можем сказать от себя, хотя это будет только в нашу меру, но вполне искренне и правдиво. Другие молитвы мы сможем читать честно: прочитав то или иное предложение, остановиться и сказать: «Господи, нет, этого от себя я сказать не могу, этого я не понимаю, с этим я не могу согласиться, я не могу так с Тобой говорить, я не могу этого чувствовать по отношению к людям, которые вокруг меня или по отношению к себе самому!» В других местах молитва будет стоять передо мной, как суд. Да, «Отче наш»: оставь мне мои грехи, как я их оставляю тем, которые передо мной виноваты... Могу ли я это сказать? А если не могу, что я Богу скажу? Я могу Ему только правду сказать. Ведь словам моим Он не поверит; Он знает мое сердце, знает мои мысли, знает мою жизнь, слышал каждое слово, которое я сказал тому или другому человеку, унижая, обижая его, окутывая его ложью. И для этого надо найти слова покаяния, но они опять-таки должны быть честны. Мы можем сказать: «Господи, да, простить не могу и даже каяться не могу. Помоги мне, научи меня!» Или можно сказать: «Господи, мне стыдно, а почувствовать не могу и измениться не могу». Есть множество таких выражений в молитвах, которые могли бы быть для нас пробными камнями. Мы тогда начали бы узнавать себя, как бы глядя в зеркало, показывающее нам тот совершенный образ, к которому мы призваны, образ Божий, запечатленный в наших глубинах, и тот изуродованный Божий образ, который является действительностью нашей души в данный момент. Все это очень важно, потому что это попытка, с одной стороны, узнать себя самих, какие мы есть, и, с другой стороны, уйти глубже, чем этот эмпирический, относительно легко познаваемый человек, в те глубины, где **настоящий образ Божий** вписан, запечатлен Божией рукой.

Если так жить, если так поступать, то можно действительно сделать из молитвы жизнь и из жизни постоянную молитву. Если так установиться, то мы можем каждый раз, встречая человека, сразу подумать: «Берегись, встреча идет! Эта встреча должна быть моим даром этому человеку или его даром мне, но не может быть ничем иным, и этот дар должен быть святым даром».

Бывают моменты, когда дар, который мы даем или получаем, мучителен. Не всегда легко услышать правду о себе. Я не знаю, труднее или легче человеку сказать правду о нем, уж во всяком случае нелегко ее сказать так, чтобы эта правда была целительной, а не стала бы раной,

нанесенной душе этого человека. И поэтому мы должны начать всякую встречу быстрой, искрометной мыслью: Господи, просвети мой ум!.. Как говорил Тихон Задонский: Дай мне «молчаливость, рассуждающую словеса», дай мне внутреннее молчание, благодаря которому я могу каждое слово сказать верно. И также молить Бога о том, чтобы нам стать способными слышать то, что Бог через этого человека хочет нам сказать. Он мне, может быть, правду хочет сказать или дать опыт униженности; Он может мне послать оскорбление, чтобы я познал, до чего я неспособен к смирению, кротости, прощению обид... Даже то, что кажется злом, приходящим в нашу жизнь, является **всегда** даром, если только мы сумеем это зло воспринять как дар, как обстоятельство, при котором мы можем стать тем, к чему нас призывает Господь. И потом, когда мы с человеком говорим или его слушаем, помолиться коротко: «Господи, взрасти во мне все доброе, что этот человек посеял, и если я сказал что-нибудь истинное, правдивое, взрасти это в нем, но если я уронил гнилое слово, если я засеял его сердце, его ум неправдой, Сам, Господи, рассей эту неправду, пусть она высохнет в нем, пусть не приносит никакого плода. А меня, Господи, прости, что я не сумел сказать Твоего слова этому человеку в это мгновение, которое, может быть, было решающим в его и в моей жизни».

Но все это может происходить, только если мы постепенным, внимательным трудом учимся тому внутреннему молчанию, которое нам дает возможность слышать. У одного из западных святых есть такое рассуждение. Если мы говорим о Спасителе Христе, что Он Живое Божие Слово, то мы можем сказать о Боге и Отце, что Он – то бездонное безмолвие, из которого только и может прозвучать Слово истинное, Слово, которое до конца выражает то, что содержится в глубинах этого молчания... Поэтому я так настаиваю, чтобы во время наших говений, кроме тех моментов, когда мы здесь общаемся братской любовью, радостью встречи, совершалось **это** молчание, чтобы был какой-то период, когда мы можем хотя бы физически молчать и научиться слушать тишину, слышать хоть собственное дыхание, хоть биение собственного сердца. Нам говорится, что при чтении Иисусовой молитвы мы должны осознавать биение нашего сердца и молиться как бы на фоне этого биения, потому что нам нужен какой-то якорь, который нас держал бы на краю молчания, или сознание того, что мы тонем, что мы подобны Петру, который пошел по волнам ко Христу и в ком, вместе с тем, не нашлось достаточной свободы от страха, от окружающего волнения, чтобы идти дальше и нетонуть. И он воскликнул: «Господи, спаси!»

Молиться можно только из недр внутреннего молчания или из

сознания отчаянной своей нужды в том, чтобы Бог спас. И когда мы так воззовем ко Христу, случится и с нами то, что случилось с Петром: Спаситель взял его за руки и они оказались у самого берега.

О ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

Как основной принцип, жить по-христиански значит жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Возможно, это звучит очень страшно; но Спаситель нам сказал совершенно ясно: *Я вам дал пример, чтобы вы ему следовали.* И пример, конечно, включает в себя всю Его жизнь, Его мышление, Его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру и к судьбам Божиим. Это включает все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. Поэтому христианская жизнь не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнить, а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и врастать в этот смысл. Это я хочу пояснить.

Когда мы вдумываемся или вчитываемся в Ветхий Завет, мы видим, что там даны заповеди, и если человек до предела исполнял эти, указанные Богом заповеди, если он их исполнял по совести, изо всех своих сил, всем своим пониманием, всем своим устремлением к праведности – он перед Богом был праведен. Но на этом все заканчивалось, в том смысле, что его положение по отношению к Богу было как бы юридическим: он был “прав” в делах своих. А в Евангелии замечательно Спаситель нам говорит: *Когда вы исполните все, признавайтесь, что вы – неключимые* (т.е. никудышные) *рабы.* Значит, речь не о том, чтобы быть праведным перед Богом через **исполнение** заповедей, а в том, чтобы за заповедью найти какой-то свой путь; а какой это путь?

Кто-то из духовных наставников говорил: для того, чтобы двигаться вперед в духовной жизни, надо безусловно верить своему наставнику. И дальше он объяснял, что вера своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, найти такового и узреть в нем образ, которому стоит следовать; найти такого человека, к которому можно прислушиваться и в послушании которому можно вырасти за предел собственной меры. И когда я говорю о послушании, я именно говорю не о том, чтобы раболепно исполнять те или другие правила жизни, а о том, чтобы **вслушиваться**. Слово “послушание” от слова “слушать”. Отношения наставника и ученика именно в том заключаются, что ученик вслушивается в своего наставника – не только просто и формально в его слова, а старается проникнуть в мысли, в опыт, в понимание, в знание, в чувство, которыми продиктованы те или другие его слова. И благодаря этому человек может как бы постепенно перерости свой опыт и приобщиться опыту своего

наставника.

В предельном отношении, единственный наш наставник – Христос; Он Сам об этом нам говорит: Я – единственный ваш Наставник, Я – единственный ваш Учитель... И поэтому когда Христос дает нам заповедь, Он нам не только указывает, что делать; Он нам говорит: вот так поступил бы **естественно** движением сердца, убежденностью ума, стройностью всего своего существа, человек, который духовно целен и здоров... И чтобы вырасти в эту меру цельности, надо начать с того, чтобы учиться, как поступать, как думать, как чувствовать, на примере своего наставника. Но “оправдать” себя тем, что, поступая определенным образом, я бываю “прав” перед Богом, нельзя, потому что “правым” человек не бывает; и не потому, что он никогда не может оправдаться, а потому что не в этом дело: заповедь нам дана, чтобы мы могли вырасти в новую меру понимания и в новые измерения жизни.

Поэтому когда мы говорим о том, чтобы жить по-христиански, речь не идет о том, чтобы в Евангелии или вообще в Новом Завете найти все правила, какие были указаны Спасителем Христом, апостолами, и их выполнять. Ведь можно механически выполнить правило, к которому ты душой никаким образом не приобщен.

Я помню случай; мне его рассказала дочь человека, о котором идет речь. Это был верующий христианин, твердо убежденный, что он должен выполнять каждую заповедь Христову; сколько умел, он так и делал. Но вот один пример того, как он подходил к этому выполнению. Он был человеком с достатком, дом у него был хороший, полы начищены. Когда к нему в дверь стучался нищий, он ему открывал, останавливал бедняка на пороге и говорил: “Стой, где стоишь, не влезай в мой коридор своими грязными сапогами”. Потом он выносил нищему тарелку супа с куском хлеба и говорил: “Ешь! – но на дворе”. Когда с едой было кончено, он ему давал какую-то монетку: “А теперь уходи!” И он считал, что выполнил заповедь Христову “накорми голодного”. Технически он это сделал: человек съел хлеб, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем он ушел? Он ушел, вероятно, с чувством, что – да, он не такой голодный, у него и полтинник есть на будущее, хоть на один обед или просто на рюмку водки – а человеческого отношения он не встретил.

В обратном порядке я могу дать пример, который меня очень тронул в свое время. Во время немецкой оккупации я преподавал в Русской гимназии в Париже. Среди воспитателей был очень суровый, строгий человек, который когда-то был моим руководителем в летнем лагере; он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем

ничего не знал; в частности, не знали, в какой нищете он сам живет. Мы получали нищенский оклад, и те из нас, кто мог, просто работали где-то еще ради того, чтобы иметь возможность преподавать в гимназии. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина: мальчики, девочки бегут в школу, идет туда же этот воспитатель. У дороги сидит нищий, перед ним – шапка. Много народу проходит. Некоторые проходят мимо, “не замечая” его, потому что стыдно посмотреть и не дать ничего. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое сделали; он для них не человек, он – нищий; а нищий – это просто шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему; ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги, обнял его, и они расстались. Это видели дети. Когда он пришел в гимназию, дети его окружили и засыпали вопросами: “Кто этот человек? Он что, вам родственник? Или знакомый? Почему вы сняли шляпу? Вы ничего ему не дали, – почему же он вскочил и вас поцеловал?.. – и загнали воспитателя в угол, ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно следующее: “Я шел пешком с другого конца Парижа, потому что у меня на метро денег не было; я шел по дороге и издали видел этого нищего; видел, как проходили люди мимо, видел, как некоторые бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. И я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека: на него не только не взглянули, но даже не потрудились от своего достатка самую малую полушку бросить ему. А денег не было! Давать было нечего... Я остановился и снял шляпу перед ним, чтобы он почувствовал, что мы на равных, что я в нем вижу равного себе человека, а не нищего, и ему объяснил: Простите – я ничего вам не могу дать: у меня ничего нет... И этот человек вскочил и меня обнял”.

Я сам с этим нищим говорил и прежде и поговорил после этого события. И он мне сказал, что никогда его никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощения.

Вот два примера: один человек все сделал по заповеди, другой как будто никакой заповеди и не исполнил: нет заповеди, как отнестись к нищему, когда нечего ему дать. Но он его одарил самым богатым даром: он его убедил, он ему доказал, что он – человек, что к нему можно отнестись, как к самому знатному: перед ним снять шляпу, перед ним извиниться, с ним говорить, как с равным... Можно было бы даже больше

сказать. Кто-то из духовных писателей говорил о том, что нищие – это наши господа, что мы обладаем богатством только для того, чтобы им служить, что богатство в наших руках – не наше, что нам поручено им распоряжаться так, как Бог распорядился бы: давать, чтобы ничего не прилипало к рукам, чтобы мы ничего не считали своим, чтобы мы считали, что все, что у нас есть, все без остатка принадлежит тому, кому это нужно.

Вот два примера с комментарием о том, что исполнение заповедей Христовых – не просто дело выполнения закона, а нечто большее: это проявление Христовой заботы и Христовой любви к тем, кому она нужна, без разбора, не ставя вопроса, достоин ли этот человек, не ставя вопроса: не обманщик ли он? – за это он ответит, а мы ответим за то, как мы к человеку отнеслись.

К этому же относится и отрывок Евангелия, который читается перед Постом: о Страшном суде, об овцах и козлищах. И всегда подчеркивается: вот *Страшный суд*, вот что будет грешникам, а вот что будет праведникам. Но это – только обрамление рассказа. Сердцевина рассказа: на каком основании производится суд? Христос спрашивает: Ввел ли ты бездомного под свой кров? Накормил ли ты голодного? Посетил ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты – друг и знакомый человека, посаженного в тюрьму? и т.д. Все эти вопросы сводятся к одному только: был ты человечен или нет? Если нет, то как же ожидать, что в твою нечеловечность (если можно употребить такое дикое слово) может влиться Божество? Как ты можешь перерасти свою тварность в приобщении к Божественной природе? Как ты можешь приобщиться Богу, если ты **даже** не человек?.. Не ставится вопрос о том, веришь ли ты, и во что ты веришь; самый основной вопрос, как бы та почва, тот фундамент, на котором можно строить: ты человек или нет? Если ты не человек – не о чем говорить даже...

И в другом месте Христос говорит: *Не всякий, кто Меня будет называть “Господи, Господи”, войдет в Царство Небесное, а те, которые будут выполнять волю Отца Моего.*

Если вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя: *Я вам дал пример, чтобы вы ему последовали*, приобретают крайнее значение, предельное значение, потому что Христос Спаситель – не только Бог, ставший человеком, Он в самом полном, единственном смысле **Человек**. Лишь поскольку человек приобщается Богу, он до конца является **человеком**. Человек делается **совершенным**, когда Бог и он соединены, стали едины. Во Христе *полнота Божества обитала телесно*.

Спаситель был одновременно в самом истинном, реальном смысле человеком, и вместе с тем, в самом полном смысле, Богом. Он был человек из плоти, из крови, из души человеческой, но ничего в Нем не было такого, что не было бы пронизано Божественным присутствием. Он был Бог, ставший человеком и явивший нам, что значит быть человеком в полном смысле слова. Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить **свой** путь, и это очень важно. Невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, чего от нас ожидает или требует Господь. Потому что не каждый способен выполнить все, и не каждый призван ко всему, что указано в Евангелии: один призван к браку, другой – к безбрачию; один призван к слову, другой – к молчанию; перечитайте сказанное в 12–13 главах I Послания к коринфянам о том, что Дух един, а дарования различны. И святой Серафим Саровский указывает: чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека, каждый должен выбрать то, что, как он говорит, “ему приносит прибыль”. У одного человека сердце открывается, жизнь вырастает в полную меру через благотворительность, через милость; у другого – через молитву; у третьего, четвертого, пятого – через другие действия и дарования. И поэтому нельзя прописать всем одинаковый и тот же самый путь.

Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственен и что Евангелие является – и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы – полным описанием всего того, что может человека сделать Человеком. Но каждый, в разные минуты, может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу, и не обязательно (и это очень важно) то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться: надо делать то, на что мы сейчас способны.

Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь. Я исповедовался ему, сколько умел, честно, и ожидал, что он, монах, мне укажет радикальный путь: “Делай то-то, то-то и то-то”. А то, что он сказал, меня поразило и на минуту разочаровало; он мне сказал: “Я тебе укажу, что ты должен был бы сделать, если бы был на то способен”. И прибавил: “А теперь постой и подумай: что из всего этого ты можешь выполнить? На что у тебя хватит мужества? Что тебе позволят обстоятельства?” И я ему тогда ответил: “Вот то малое из великого, что я могу выполнить”. – “Выполнни это, и когда ты

окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим”.

И это очень важный момент: не выискивать в Священном Писании, в Евангелии, в действиях Христа, в Его словах, в притчах, в Его отношениях с людьми самое великое в надежде или, вернее, в иллюзии, что мы можем это выполнить. Что же выбрать, как же поступать? Я повторю снова то, что я неоднократно говорил частным порядком и на общих беседах в течение последних сорока с лишним лет.

Евангелие раскрывает перед нами образ человека в полном его масштабе: Христа. И в это как бы зеркало всечеловечества и человеческого совершенства мы можем заглянуть с тем, чтобы увидеть себя. Когда мы читаем Евангелие, прочитанное может нас или глубоко ранить, или огорчить, или оставить безразличными, или исполнить радости, вдохновения, надежды. И читая Евангелие, мы должны быть честны. Это нам очень нелегко дается, потому что нам хочется видеть себя в наилучшем свете. Но вот прочли маленький евангельский отрывок. Сердце затрепетало, согрелось, ум как-то просветел, воля вся напряглась, в сознании только одно желание: Вот **так** бы жить! Как это прекрасно! Как это истинно!.. Если так мы отзвались на евангельское слово, это значит, что оно дошло до нашего сердца (а сердце, в святоотеческой литературе, не есть место эмоций: это самая глубина нашей души, сердцевина нашего бытия). Дошло; я это понял; Бог мне раскрыл то, что уже зачаточно (хотя это еще надо взрастить, защитить, укрепить) меня делает родным Спасителю в Его человечестве и, значит, уже является началом моей приобщенности к Нему в целом. Если так мое сердце отзвалось, так мой ум просветел, воля встрепенулась, все мое существо напряглось желанием **так** жить, ответить на эти слова всей жизнью – я не только себя узнал, я узнал что-то новое о Боге. Потому что если я на Него хоть мало-мальски похож, то, значит, и Он на меня сколько-то похож. И познавая себя, я познал Его.

Но бывают моменты, когда мы читаем Евангелие, и до нас тот или другой отрывок никак не доходит. Мы его читаем глазами, читаем умом – все понимаем, что там сказано. Но у нас чувство, что это к нам никак не относится. В этом надо признаться; не надо себя как бы искусственно подогревать, взвинтить себя, чтобы *как будто* отзваться на то, на что мы не отзываемся.

Вы наверное заметили, читая Евангелие, что Спаситель говорил целым толпам народа. В этой толпе находился человек, который Христуставил вопрос; и Христос отвечал ему, на его вопрос. Но задумывались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил

вопрос, который в нем созрел, который он осознал уже с ясностью; но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался или созревал в разной мере. Слыша вопрос и ответ на него Спасителя, эти люди прислушивались, потому что знали, что это каким-то образом к ним относится, хотя это не был ответ на их еще не “оформившийся” вопрос. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно этот ответ разрешит еще пока не родившийся вопрос.

Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не существовал и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили: “Что за вздор этот человек спрашивает? И чего Иисус отвечает ему? Причем отвечает так же нелепо, как этот человек спрашивал, – **что** это за разговор? Какая потеря времени, когда можно было бы более возвышенные вещи говорить?..” Вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда читаем Евангелие и не отзываемся.

Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, неприемлемыми, словами, которых мы принять не можем. Лет сорок назад я проводил в нашем приходе беседу о заповедях блаженства: *Блаженны вы, когда поносят вас, когда ижденут* (т.е. прогонят), *когда скажут злое слово о вас Меня ради: радуйтесь и веселитесь...* И я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказала: “Отец Антоний! Это – спасибо! – себе оставьте. Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит. Такого блаженства я себе не желаю!” Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу: “Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком – этого блаженства не хочу! Если Ты его хочешь – неси крест, умирай на Голгофе, – я на Голгофу не пойду, и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни...” Эта женщина была совершенно правдива; и я уверен, что Христос принял ее слова с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала: “Как это прекрасно!” – и пальцем не дотронулась бы до того креста, который надо взять на свои плечи и понести.

И вот мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем, чтобы, встречаясь с поступком Христа, видя Его отношение к людям, слыша Его слова, обращенные к тому или другому человеку, слыша то, что Он говорит ученикам, то, что обращено к нам – видеть и слышать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать: “Это – да, Господи! Это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является, пусть зачаточно, внутренним законом моей жизни. А этого я коснуться не

могу, я просто не понимаю, о чем Ты говоришь; а **этого** я еще принять не могу, – никак не могу принять! Может быть, когда-нибудь дорасту, а сейчас – нет!”

И вот если бы мы могли найти в Евангелии пусть одно или несколько таких мест, о которых мы можем сказать, что в этих словах я как бы увидел себя в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански; не только быть исполнителями тех или других правил, но могли бы вырасти в свою меру, по-своему уподобляясь Христу. Потому что уподобление Христу совсем не означает подражание искусственное, внешнее: это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет ум *Христов*; и когда он говорит об уме Христовом, он говорит о мысли, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа.

С этого мы все можем начинать; и нам известно из житий, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что знаем мы, будучи грамотными. Мы окружены словом, которое слышим, которое можем читать. Многие подвижники начинали свою духовную жизнь с какого-то одного изречения, тронувшего их сердце. Наверное, многие из вас читали “Откровенные рассказы странника”. Его поразила одна фраза у апостола Павла: *Непрестанно молитесь..* И он стал искать ответ на эти слова, потому что эти слова ударили ему в сердце, – и нашел его в Иисусовой молитве.

Мы знаем примеры и других людей, которые услышали то, что они десятки раз слышали в церкви или от людей; но впервые **услышали** – то есть не ушами, а нутром как бы, и начали жить по-новому. Это совсем не значит, что мы имеем право или что было бы разумно сказать: “Я буду жить только по тому, что я уже познал”. В таком случае мы никогда не перерастем себя, тогда мы будем очень долго и медленно расти. Мы живем в среде людей, которые вот уже две тысячи лет слово Христово, образ Христов принимали в себя и носили в своем сердце и им жили. И мы можем не только взглядываться в Евангелие, но вслушиваться в наставления святых отцов, вчитываться в их произведения, взглядываться как можно более глубоко и чутко в их жития и из каждой из этих встреч вынести что-нибудь себе на пользу.

Кроме того, есть, конечно, и ограничительные заповеди, которые нас предупреждают: если ты по этому пути пойдешь, померкнет в тебе свет, окаменеет сердце, ты сойдешь с пути жизни на путь смерти. На это также надо обратить внимание. Десять заповедей Ветхого Завета в этом отношении являются таким предупреждением: это **путь** жизни; если с него сойти, ты уже вступаешь в область умирания, смерти, в область тьмы

и разрушения.

Вот те вступительные понятия, которые, мне кажется, надо продумать, пережить, к которым надо подойти, раньше чем вступить в конкретный подвиг духовной жизни. А подвиг духовной жизни заключается в том, чтобы никогда не оставаться косым. Подвижник – это тот, кто постоянно во внутреннем движении, не беспорядочном, а целеустремленном движении. И чтобы дать тому, что мы **уже** знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, стать реальностью, надо очень много бороться; надо перебороть очень многое в себе для того, чтобы путь Христов был гладок, чтобы он был прям. Об этом говорят все подвижники, указывают, как поступать, что делать; об этом говорит Церковь в своих богослужениях, говорят об этом те молитвы, которые мы читаем постоянно – утром, вечером, в разных случаях нашей жизни.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Бываю неверующие, в которых столько тепла и добра, что ни один христианин не может с ними сравниться...

Любой человек, верующий и неверующий – икона Христова; и как бы эта икона ни была помрачена или повреждена, она остается живой силой в каждом человеке. Тот призыв к жизни, в полном смысле слова, который нам дается при сотворении нашем, живет в нас. Говоря словами апостола Павла, те, которые знают закон, будут судиться под законом, а те, которые не знают внешнего закона, будут судиться по закону, написанному у них в сердцах. И никакого сомнения нет в том, что всякий человек способен на добро, на правду, на истину, на восприятие красоты – не только вещественной, но и духовной красоты, и поэтому не обязательно наше верование (я говорю “верование”, а не вера) определяет наши поступки. Я помню, как во время войны были христиане, которые себя показали потрясающим образом, а были такие, которые рады были спрятаться; и были совершенно неверующие люди, которые жизнь свою отдавали за других. Помню письмо, которое я получил во время войны от одного моего друга, теперешнего епископа Серафима Цюрихского. Он был очень высокого роста, широкоплечий, и этому был не рад, потому что он обращал на себя слишком много внимания. (Раз в метро малюсенький мальчишка рядом с ним дернул его за рукав и говорит: “Дядя, скажи – тебе не скучно одному там наверху?”) Так вот, Серафим мне написал: “Я всегда жаловался, что я такой крупный, а теперь я за это благодарю Бога: когда в нас стреляют, два человека могут спрятаться за мной...” И это была не шутка, таково было его восприятие. А наряду с этим я видел людей нерелигиозных, но которые верили в человека. А веровать в человека это в

какой-то мере – веровать в Человека Иисуса Христа, потому что только в Нем мы видим человека в полном расцвете человеческого величия. Но даже в малом масштабе всякий из нас является иконой. Одна французская подвижница 18-го или 19-го века говорила в своих записных книжках: “Господи, по своей должности я не имею возможности много бывать в церкви, но я среди людей, и в каждом из них вижу Твой образ и поклоняюсь ему...” Есть величие во всяком человеке, и мы это слишком легко забываем; мы слишком легко делим людей на “своих” и “чужих” и слишком редко помним, что в каждого человека Бог верит. Бог его не создал бы, если бы не верил в него; Он надеется на него, Он его любит всей жизнью и смертью Христа. И очень важно нам помнить, что **в каждом** человеке, без разбора, независимо от его убеждений и даже от его поступков в каком-то отношении (потому что мы все часто поступаем хуже, чем хотели бы, или по заблуждению, или по слабости, или потому что мы соблазнены чем-нибудь) есть этот образ Божий. Я помню, отец Евграф Ковалевский как-то сказал, что когда Бог смотрит на каждого из нас, Он не обращает внимания ни на наши качества, ни на наши недостатки, а смотрит на Свой образ, который нас сродняет с Ним. Я думаю, что если бы мы умели друг на друга так смотреть, то наши взаимные отношения были бы гораздо более плодотворны. Тогда мы не ставили бы вопросы: “Ты какого цвета? Какой нации? Каких убеждений?” – а говорили бы: “Ты – человек, я верю **в тебя**”; не обязательно **тебе**, принимая в учет нашу слабость, нашу удобопреклонность на зло. Это не значит, что мы должны просто верить, будто в человеке только хорошее; но в нем есть эта сердцевина, и вот этой сердцевине мы должны служить.

*Столько делаешь, а вечером – пустота. Видимо, нужно делать как-то **со Христом**, чего я не умею. Все время уходит в работу, в занятия, и в конце дня усталость такая, что много не помолишься ...*

Я думаю, что не надо всегда обращать внимание на то, как мы себя воспринимаем: потому что иногда телесная усталость, умственная усталость не дает нам дойти до собственных своих глубин. Они есть, потому что через день, или год, или час вдруг все, чего в тебе не было, оказывается – есть: оно вдруг всплыло как-то.

И я бы сказал, что с Богом гораздо проще жить, чем с людьми, потому что Он гораздо понятливее. У меня был племянник, который жил у нас. Помню, мальчуган загонялся за день, вечером приполз к своей постели, посмотрел грустно на бабушку и сказал: “Я слишком устал, чтобы молиться!” Потом посмотрел на икону, послал воздушный поцелуй и сказал: “Спокойной ночи!” – и заснул тут же. И я уверен, что этот поцелуй

мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальнее, чем если бы он из себя вымучил какую-нибудь молитву.

И с нами то же самое. Мы можем сказать: “Господи, я так устал – не только телом, но и голова не варит; но я знаю, что я Тебя люблю, хотя этой любви не могу сейчас ощутить; я знаю, что я в Тебя верю, хотя сейчас я не ощущаю ничего ровно, кроме боли в ногах и в спине”. И я думаю, можно перекреститься и сказать: “Я в этой пустоте ложусь спать – и Бог меня хранит”.

Как-то отец Афанасий меня спросил: “Ты много молишься?” – “Ну, в общем, много”. – “И тебе это очень приятно?” – “Да, я это люблю”. – “А если не сможешь помолится – тебе не по себе?” – “Да, не по себе”. – “Так значит, ты не на Бога надеешься, а на свою молитву! Ты с Ним как бы в договор вступаешь: я столько-то помолюсь, а когда лягу спать, уж Ты за мной смотри!” Я задумался, говорю: “Да, правда! А что же мне делать?” – “А вот тебе послушание: перестань молиться на полгода. Перед тем как лечь спать, перекрестись и скажи: Господи! Молитвами тех, кто меня любит – спаси меня!.. И ложись спать и подумай: кто же есть на свете, кто меня достаточно любит, чтобы мне и молиться не надо было? И тут вспоминается один, другой человек, чье-то лицо всплывает, имя всплывает. И каждый раз, когда всплывает лицо или имя такого человека, который – ты уверен – так тебя любит, что тебе даже и молиться незачем, потому что он за тебя молится, и ты, защищенный им, как за каменной стеной стоишь, скажи мысленно: Спасибо тебе за это! А если немножко согреется сердце, скажи: Господи, благослови его за это!.. И когда заснешь – засыпай с этим”.

Есть еще другое. Я говорил о том, что как читать Евангелие и как стараться жить по нему. Но можно также и молиться по нему. То есть, когда в голове ничего нет, в теле ничего нет, можно раскрыть Евангелие, прочесть две или три строчки и сказать: вот сейчас со мной Спаситель Христос разговаривал, – что я Ему на это отвечу? Может быть, отвечу: “Спасибо, что Ты со мной поговорил: спокойной ночи!” А может быть, я скажу: “Ах, как я Тебе благодарен за то, что Ты мне это сегодня сказал: это же озаряет целый ряд событий, которые происходили!” Или скажу: “Господи, прости! положи эти слова мне на сердце, чтобы я их не потерял, но сейчас я никак не могу отзваться...” – и довольно. И мне кажется, что если с Богом жить *попроще*, то это плодотворнее, чем из себя выжимать что-то. Это не значит, что надо лениво жить, это не значит, что каждый раз, когда немножко устал, можно сказать: “Ох, я сегодня молиться не буду, читать Евангелие не буду...” Но можно сказать: “Да, я сейчас устал,

НО ОТ МОЛИТВЫ Я НЕМНОЖКО ОЖИВУ; Я ВОЗЬМУ МОЛИТВЕННИК И ПОСМОТРЮ: ВОТ ЗДЕСЬ МОЛИТВА, НАПИСАННАЯ Иоанном Златоустом, Василием Великим, святым Марком, Симеоном Метафрастом. Раньше чем помолиться, я ему скажу: отец Иоанн, отец Василий! Я сейчас буду читать твою молитву; в ней ты заключил весь твой опыт Бога, себя самого, путей твоих и путей Божиих. Я многоного не понимаю и не пойму; но я прочту эти слова с тем, чтобы они упали в мою душу, как семя падает в землю. Это все, что я могу сделать, а ты помолись со мной! Принеси собственную молитву, которая для тебя была жизнью, правдой, реальностью, – принеси ее Богу и благослови меня". И так можно перейти на другую молитву, поговорить с другим святым, чтобы он помолился с нами, или за нас, а его слова просто послушать: вот как святой молится Богу, вот как он воспринимает Бога, вот как он себя воспринимает: он такой святой – а кается!.. Вот и все.

И я думаю, что нам надо всегда помнить, что мы не можем судить о своем собственном состоянии; мы можем только это состояние принять как факт и в нем действовать согласно с тем, что мы знаем об этом состоянии. Скажем, говоря не о молитве, а просто об обыкновенной жизни: я по себе знаю, что иногда у меня голова работает, воля крепка, сердце отзывчиво, – я могу тогда писать письма. В другие моменты у меня есть доля пустоты, но я достаточно восприимчив, чтобы почтить немножко и отозваться. Бывают другие моменты, когда и душой, и телом или чем угодно я устал и чувствую, что не могу ни сердцем, ни головой ничего особенного делать, потому что без сердца и без какой-то сосредоточенности ума письма ведь не напишешь. Но тогда я могу убирать свою комнату, мыть пол, даже вымыть стены, или что-то другое сделать; и это тоже нужно, тоже полезно. И можно сказать: "Господи, благослови! Я сейчас буду этим заниматься; это часть какого-то созидания гармонии вокруг". А иногда бывает, что и этого не можешь, и говоришь: "Господи! Благослови меня лечь и поспать!" и ложись и спи, и Бог тебя будет хранить.

Что может нам помочь вырасти в собственную меру в данную минуту? Мы, в общем, отлыниваем, или, наоборот, берем слишком большую ношу...

Я думаю, надо признаться в том, что мы все в какой-то мере лукавим, что в нас нет такой абсолютной правдивости, которая нам давала бы себя видеть, как Бог нас видит; да и помимо лукавства, у нас есть просто какая-то доля близорукости: даже неослепленности, а просто близорукости. Мы умеем различать вещи только по сравнению с чем-нибудь: свет от тьмы и разные градации света, потому что существуют эти две крайности.

Поэтому надо навсегда запомнить, что всякий раз, когда мы захотим что-то делать, наш поступок будет несовершенен; единственное, что мы можем: в пределах наших сил и честности (но изо **всех** сил и со **всей** доступной нам честностью) продумать, как поступать, что сказать – и действовать соответственно, не воображая, что мы сделаем что-нибудь абсолютное, но каждый раз приближаясь, сколько возможно, к идеальному поступку. Иногда мы поступаем идеально, – большей частью нечаянно. Может быть, **один раз в жизни** мы сможем совершить такой поступок, который нас всю жизнь радует: не потому что он великий поступок, а потому что в нем была сосредоточена вся правда, на которую мы были способны в ту минуту. Через десять лет, может быть, подобный поступок нельзя было бы так оценивать, потому что это был бы младенческий поступок, совершаемый взрослым человеком; но тогда он был полной мерой того, что мы могли сделать. Святой Феодор Студит в одном из своих наставлений говорит, что не надо себе ставить вопрос о том, на какой ступени совершенства или несовершенства ты стоишь, потому что в тот момент, когда ты двинулся с одной ступени на другую, ты себя видишь по-иному. Так же как когда поднимаешься в гору: стоя у подножья, видишь одно, когда поднимаешься выше, видишь другое, и еще другое, и еще другое; кругозор меняется, и то, что казалось громадным, когда ты стоял рядом, кажется очень маленьким с верхушки горы.

И поэтому окончательное суждение о себе: где я стою, в каком соотношении с Богом я стою – невозможно произнести. Можно только сказать: в данную минуту я могу сказать, что настолько я поступаю по совести, правдиво, настолько – нет, я знаю, что не поступаю ни искренне, ни правдиво: а почему? Тут надо всегда ставить вопрос “почему”: по трусости ли, по лени, по каким-то другим соображениям, или потому что я еще не дорос? Но не надо спешить говорить, что я не дорос, потому что очень легко сказать: “завтра, завтра я дорасту!” Надо просто двигаться вперед. Знаете, есть письмо Тихона Задонского молодому священнику, где он советует: Помни, и напоминай своим прихожанам, что в Царство Божие идут не от победы к победе, а чаще всего от поражения к поражению; но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того чтобы садиться и оплакивать его, вст起来 и идут дальше... И я думаю, что это нам надо помнить. Поступил неправильно, – скажи: “Господи! Прости, я виноват” – и иди дальше. А по дороге поставь себе вопрос о том, как же это могло случиться, и чему-то научись из этого опыта. Когда еще раз упадешь, если слишком крепко задуматься над тем, что было, то можно и в яму попасть. Но – вставай и иди, вставай и иди!

Что у тебя нет чувства, что Христос рядом с тобой, вовсе не значит, что Его тут нет. Я был в Индии в 1961 году и слышал разговор между индусской матерью и маленьkim ребенком, который говорил: “Как же так – ты мне говоришь, что Бог везде, а я ничего не вижу, не слышу?” И она ему ответила: “Помнишь, как мы с тобой играли в прятки. Я спряталась за деревом и говорила: “Ay!” – а ты искал и говорил: “Где же ты? Тебя нет!” – только потому, что ты меня не видел”.

И в том же порядке есть рассказ из жизни святого Антония Великого о том, как он отчаянно боролся с искушениями и дошел до полного изнеможения, лежит на голой земле, все силы душевые и телесные вышли. И вдруг перед ним встает Христос; и, не в состоянии даже встать и поклониться Ему, Антоний говорит: “Где же Ты был, Господи, когда я так боролся?!” И Спаситель ему отвечает: “Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы ты сдался искущению”. Бог нам очень много дает, а потом нам говорит: “Я с тобой всю дорогу до сих пор шел; хватит ли теперь у тебя верности поступать согласно тому, что ты обо Мне знаешь и о нашем отношении знаешь, если даже не чувствуешь, что Я где-то рядом?” И тогда можно сказать: “Да, Господи! Даже если бы я не ощущал Твоего присутствия, все равно, я знаю Тебя, и поэтому я буду жить согласно с тем знанием, которое у меня уже есть; а когда Тебе будет угодно мне явить Свое присутствие, я с радостью на это отзовусь...”

Как быть с детьми: что мы можем им дать, если сами хромаем на обе ноги, – они же это видят!..

Я думаю, в том, что надо идти по тому или другому пути, человека убеждает не обязательно пример совершенства, а пример того, кто с решимостью борется и идет дальше. Есть книга французского писателя Жоржа Бернаноса “Дневник сельского священника”. И там такой эпизод. Молодой священник назначен на приход и изо всех сил хочет творить добро, и у него ничего не получается, потому что у него никаких сил нет; впоследствии оказывается, что у него рак, от которого он и умирает. Но он борется, борется, борется, и все не может, все не получается. Как-то молодой офицер его встречает на дороге и предлагает подвезти его на мотоцикле. И по дороге этот офицер ему говорит: “Нас так поражает в вас молитвенный дух, который в вас живет”. Молодой священник с отчаянием ему возражает: “Да молитвы-то у меня нет! Я всю жизнь **кричу** к Богу, рвусь к Нему и не могу пробиться”... И офицер отвечает: “Вот это-то нас и поражает в вас”. Потому что, если бы у него была просто пламенная молитва, которая текла бы, как река, вероятно, люди看了 бы и говорили: “Ну, счастливый человек, это у него удается”. А этот человек

всем своим существом был устремлен к Богу, и эта волна, поднимаясь, разбивалась, как об утес, о его умирающее тело.

И я думаю, что если люди вокруг нас видят, что мы искренне боремся, хотя нам и не удается ничего, они могут поверить в то, куда мы устремлены. Если они не видят этого, если они видят, что мы никуда не устремляемся или что у нас это все удается самотеком, они могут поставить вопрос: а реально ли это, не фантазия ли это? Поэтому лучше не стремиться быть примером кому бы то ни было, т.е. не стараться показать: “Я такой замечательный, ты посмотри на меня и поступай так же”. Но если мы боремся, остаемся устремленными, через все неудачи продолжаем “встань и иди, встань и иди”, то этот пример борьбы важнее для тех, кто его видит, чем успех

СПАСЕНИЕ В МИРУ

Мне поставлен вопрос о спасении в миру: насколько сегодня применимы аскетические наставления отцов, каково может быть их приспособление к конкретной современной жизни?

Первая предпосылка та, что Евангелие было провозглашено для всех без исключения. И если Христос нам предложил евангельский идеал, евангельский путь, именно не делая различия, не указывая каких-то специальных отдельных разветвлений, осуществление его в современной жизни должно быть возможно. Вопрос в том – что и как.

Большой частью невозможны те или другие **формы** жизни при тех или других обстоятельствах. Но не бывают невозможны те или другие настроения, тот или другой внутренний строй. Скажем, вести созерцательную жизнь по типу пустынника можно в пустыне, заниматься Иисусовой молитвой так, как ею занимался Странник (см.: Откровенные рассказы Странника духовному своему отцу. – Ред.), можно только в условиях его странничества, и т.д. Но это совсем не значит, что нельзя быть лицом к лицу с Богом вне пустыни, что, не будучи странником, нельзя быть в таком же **радикальном** предстоянии или нельзя заниматься Иисусовой молитвой с той же глубиной опыта. Так что, если ставить вопрос об аскетической жизни, исходя из тех или других форм, – формы могут оказаться несовместимыми с теми или другими обстоятельствами, но это не значит, что их содержание несовместимо.

Если подумать о том, как эти формы постепенно выкристаллизовывались: во-первых, они не были выдуманы или надуманы. Они постепенно выросли изнутри опыта; потом они стали даваться как условия для искания или нахождения того или другого духовного опыта, но началось-то бесформенно. Когда первый человек ушел в пустыню, у

него не было программы, не было представления о том, во что это все выльется, он только знал одно: что ему нужно быть совершенно одному лицом к лицу с Богом и с собой. И уже из этого начали появляться формы; скажем, сразу было обнаружено, что невозможно жить бездеятельно, что надо работать; пустынники, например, плели корзины, во всяком случае работали. Причем труд должен был быть тяжелый, такой, чтобы на него было положено настоящее усилие; труд заключался в том, во-первых, чтобы делать что-то целесообразное (вот – плести корзины), что требовало минимального умственного внимания и никакого внимания сердца, которое могло всецело оставаться Божиим; и, во-вторых, в тяжелых условиях жизни: скажем, ходили за водой на довольно большое расстояние, что представляло собой самый подлинный физический труд.

Затем был обнаружен целый ряд других вещей. Первые гиганты духа как-то предстояли перед Богом; когда стали к ним прибиваться люди меньшего масштаба, но искающие под их руководством того же, появилось такое понятие, как послушание; оно стало разрабатываться сначала как общее руководство, а потом развилось в радикальные его аспекты.

Но главное надо помнить: телесные ли упражнения, душевые ли упражнения, строй ли жизни, правила ли этой жизни – началось все это без намерения что-нибудь “создавать” в этом порядке; строй вырос из внутренней жизни. Поэтому жизнь, когда она есть, может выработать свои формы. Это общее биологическое правило, это правило и общественное и личное, – **была бы жизнь!**

Говоря еще о “радикальном” житии... Феофан Затворник, через несколько лет после того, как он уже был в затворе, в одном из своих писем говорил, что отшельничество или затвор создают какие-то условия для внутреннего возрастанья, но есть вещи, которым легче научиться среди людей и, пожалуй, легче научиться в миру, чем в монастыре. Например, он указывал на то, что в миру – просто потому что люди не “возятся” друг с другом – ваши близкие вас отшлифуют гораздо быстрее и решительнее, чем братья в монастыре, которые одновременно хотят и себя спасать, то есть не хотят выходить из себя, не хотят применять грубость, не хотят делать то, что вам, может быть, полезно, но что их ранит ответной раной.

Если поставить себе вопрос о том, в чем сущность евангельского делания, в чем его абсолютная радикальность: думаю, в **любви** и ни в чем другом; но в любви предельной и радикальной. Не в такой любви, которая обращена на любимых и оставляет в стороне других, не в такой любви, которая все сводит к себе самому. Мы очень разно любим людей; то же

слово “люблю” мы употребляем для понятий просто несовместимых. (Есть болгарская поговорка: один любит арбузы, а другой офицеров). Мы “любим” ту или другую пищу, и мы “любим” дорогого нам человека так же, как любим пищу: мы его дотла загрызаем. У одного английского писателя есть книжка: письма старого беса, где он поучает своего племянника, молодого бесенка, который только начал свою подрывную деятельность среди людей. И он пишет о любви: я не понимаю, каким образом Христос говорит, что любит людей – и оставляет их свободными. Вот я, тебя, бесенка, люблю; что это значит? Это значит, что я хочу тобой обладать, я хочу тобой так овладеть, чтобы вне меня ничего твоего не осталось, чтобы в конечном итоге тебя переварить до конца, чтобы ты весь был интегрирован каким-то образом в меня... Это бесовская псевдо-любовь; но это страшно похоже на то, как мы любим людей, хотя, может, не в такой степени и, во всяком случае, не так намеренно. Но очень часто люди говорят нам, если не словами, то поступками: люби меня меньше, но оставь меня свободным...

В этом смысле любовь евангельская начинается с того, чтобы ставить под вопрос все формы нашей любви, – причем во всех категориях, потому что можно любить родительской, брачной, дружеской любовью так же разрушительно, как этот старый бес любил своего бесенка-племянника. Дальше, если думать, как Христос нас любит: Его любовь нас оставляет **до конца** свободными. То есть Он берет на Себя, по любви к нам, все последствия этой любви: потому что Он любит, Он делается до конца уязвимым, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих – это слова из Исаии, повторяемые на проскомидии. Ни словом не протестует: делайте со Мной, что хотите, – Я вас достаточно для этого люблю... *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...* причем “друг” в сильном смысле слова, то есть не приятель, не знакомый, а тот, который как бы мой alter ego, “другой я сам”; это видение другого в таком соотношении с собой, что всё, составляющее его судьбу – и моя судьба, со всеми последствиями: и положительными (это не проблема), и отрицательными.

Для того, чтобы этого достичь, надо действительно отрешиться от себя и забыть себя. Забыть себя, когда кого-нибудь любишь естественно – уже нелегко, потому что и тут себя вспоминаешь. Но когда естественно сердце не влечет к кому-нибудь, забыть себя очень трудно. Я вам могу дать пример. У меня есть прихожанка, которой сейчас недалеко от восьмидесяти лет. В какой-то период жизни она попала в тюрьму. Она мне рассказывала, как на первых порах проходили ночи и ночи допросов. В

какую-то ночь она дошла до такого измаждения и измученности, что почувствовала: **что угодно** лучше этой муки. Она сидела, понурившись, и вскинула голову, чтобы бросить вызов своему мучителю; и вдруг обнаружила по ту сторону стола человека, бледного, как смерть, от усталости, такого же измученного, как она, потому что он те же самые часы сидел, только по другую сторону стола. И в то мгновение она поняла, что они не враги, что оба схвачены в водоворот истории, который их разбросал – одного по одну сторону, другого по другую сторону стола, но в сущности оба во власти тех же исторических событий, и **лично** нет оснований смотреть друг на друга как на врагов. В это мгновение она приняла его, просто согласилась на то, что он имеет право быть там, где он есть, и она – там, где она есть, и улыбнулась. И она мне говорила, что это ничего не изменило в дальнейших событиях, но это совершенно ее переменило в то мгновение. Тут блеснуло признание другого: признание и его права быть тем, что он есть. Это какая-то основная справедливость; не та справедливость, когда мы думаем, что каждый должен получить равную долю чего-либо или что должно быть возмездие или награда за те или другие поступки. Нет, признание другого человека, как **он есть**, с его собственной судьбой, с его будущим, с его вечным призванием, то есть независимо от меня: он не существует только по отношению ко мне, он существует по отношению к себе, к Богу, Которого он, может, не знает, к целому миру, в котором он себе не отдает отчета.

И вот здесь любовь Христова делается такой требовательной и страшной, потому что, в конечном итоге, любовь, о которой говорит Христос, это, по словам Феофана Затворника, самоубийство. Епископ Феофан говорит, что никто не может без помощи Божией на себя поднять руку так, как того требует христианская любовь, то есть отречься от себя до такой степени, чтобы, в конечном итоге, себя не помнить, а помнить только другого. Об этом можно было бы еще многое сказать, но по существу **это** – сердцевина Евангелия, наше уподобление Богу, путь, которым мы приобщаемся Ему, путь, который нам открыт Богом к брату, к ближнему, к добрым и злым, к своим и чужим, и т. д. И это возможно в любых условиях, причем радикальность может быть одинаковая у монаха в общине, у пустынника или просто у человека, живущего в миру. И общинная жизнь, будь то монастырская или мирская, – отчасти необходимая подготовка. Никогда в традиции монашества не пускали человека на одинокое житье, раньше чем не удостоверились, что он достиг любви и смирения, потому что если он не достиг их, то когда он будет один, без проверки, он будет жить в прелести. Очень легко любить весь

мир, когда его нет; очень легко чувствовать смижение, когда никто тебя не унижает.

Конечно, есть в Добротолюбии вещи, которые трудно осуществимы без организованного аскетизма; но, как Григорий Сковорода говорил, замечательно устроено в жизни то, что все сложное ненужно и все нужное несложно. В этом тоже правда есть, потому что цель или даже форма христианской жизни не в том, чтобы жить так или эдак, а в том, чтобы жить одной самозабвенной, пламенеющей, причем не своей, а Божией любовью.

И вот в этом смысле, я думаю, много нам надо еще подумать о том, как вести свою жизнь в мирских условиях, то есть о технике этого, о том, что можно применить формально и что можно применить только по духу, ища формы. Но я думаю, что все Евангелие осуществимо в жизни, в обыкновенной мирской жизни; только не надо пробовать жить в миру, будто ты живешь в пустыне или будто ты живешь в монастыре, потому что тогда получается не следование Христу, а обезьянничанье с какого-то образца. Думаю, все мы это делаем в какой-то момент жизни; мы вдруг решаем быть пустынником или чем-то вроде, и стараемся себя подогнать или жизнь подогнать под это. Но это не нужно. Я знаю, есть в Русской Церкви традиция тайного монашества. Тайное монашество тем характерно, что вы не живете внешне так, как жили бы в монастыре или в пустыне, но всё, что составляет монашество, а именно: устойчивость, стояние перед Богом и монашеские обеты – должно быть осуществлено. Устойчивость (у меня нет подходящего слова, латинское *stabilitas* это хорошо выражает): человек стал и не сойдет с места. Это первый вопрос, который ставится при постриге: обязуешься ли ты не покидать монастыря? Это понимается теперь чисто географически: вот здесь стены, и я обязуюсь не выйти оттуда. Но можно жить в пределах стен и одновременно воображением, мечтой, желанием быть везде; и можно, передвигаясь с места на место, сохранить то, что святитель Феофан называл “внутрь-пребывание”, то есть быть всецело внутри себя.

Это не зависит от внешних условий, во всяком случае, не всецело, потому что не надо обманываться: конечно, какая-то доля физического реального исполнения этой стабильности помогает или, наоборот, может служить проверкой нашей неспособности к ней. Есть очень интересное и, по-моему, при его сдержанности и почти холодности, очень трагическое письмо Феофана, где он рассказывает, как трудно ему давалось себя постепенно приучить к затвору. Вы помните, что он был сначала преподавателем семинарии, затем епископом в Тамбовской епархии и во

Владимирской. Перед ним были все просторы, он мог смотреть вдаль, мог передвигаться свободно; и он ушел в монастырский затвор еще относительно молодым человеком. И вот он говорит, что вначале он себе дал волю ходить по монастырю, подниматься на стены и всласть смотреть вдаль. Когда он привык к монастырю, он себе поставил правилом: ходи куда хочешь, но на стену не поднимайся и никакой дали ты больше не увидишь. Он пишет, что этот первый шаг был просто мукой: чувство, что мир кончается **здесь**, а за стеной весь простор русской земли, которой он **никогда** больше не увидит. И он долго боролся с соблазном, с желанием взглянуть, посмотреть, то есть, в конечном итоге, выйти из себя. Когда он к этому привык, он себе установил второе правило: ходить только в церковь, в трапезную и на послушания или туда, куда нужно, но не гулять, не ходить по монастырю бесцельно. Эта вторая стадия борьбы ограничила его физический мир и заставила его проверить, насколько он может внутри себя жить. Затем он только раз в неделю стал ходить в церковь и не стал больше ходить в трапезную; и в конечном итоге он заперся в келье. Но не сорваться на этом пути можно, только если каждый шаг соответствует постепенному вхождению в себя.

Кто-то из отцов пустыни говорил, что в келье можно оставаться безбедно, только если ты весь живешь под собственной кожей; если ты сердцем хоть на вершок вне себя – келья невыносима, потому что ты будешь разбиваться о всякую стену. В этом разница между тюремной одиночной камерой и кельей: человек, который находится в одиночной камере, рвется наружу; человек, который уходит в келью, кого допустили до этого, рвется внутрь, вглубь – и это совершенно другой строй.

И вот это первое – та стабильность жизни, которая заключается в том, что совершенно не нужно искать Бога где-то, потому что если Его не найти внутри себя, Его не найти и вне себя. И в момент, когда вы это обнаружили, тогда, в сущности, не так важно, где вы: на базарной ли площади или в келье; если вы внутри себя, то вы **только** внутри себя. Может быть, телесно вы передвигаетесь, но всем бытием вы просто предстоите перед Богом.

То же самое можно сказать о других обетах. Они кажутся порой очень внешними; скажем, обет бедности или нестяжательности, казалось бы, очень прост. Во-первых, иногда он как будто очень прост, потому что и без него ничем не обладаешь. Но это совсем не так просто, потому что в момент, когда говоришь: да, я мог бы это иметь, но больше не могу, потому что отрекся от этого – самый ничтожный предмет вдруг делается таким привлекательным, таким желанным... Я в 1939 году произнес

монашеские обеты, через неделю попал в армию и началось армейское житие. Помню, как-то вечером я сидел и читал; рядом со мной лежал огрызок карандаша – с одной стороны подточенный, с другой подъеденный, соблазняться было действительно нечем. И вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то сказало: ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать: “это мой карандаш”. Ты отрекся от всего, чем имеешь право обладать... И – вам это, может, покажется совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода бред – я два или три часа боролся с тем, чтобы сказать: да, этот карандаш не мой – и слава Богу!.. В течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с чувством, что я не знаю, что бы дал, лишь бы иметь право сказать: “Это мой карандаш”. Причем, практически он был мой карандаш, я им пользовался, я его грыз. И он не был мой; и вот тогда-то я почувствовал, что не иметь – одно, а быть свободным от предмета – совершенно другое дело.

Поэтому, когда мы говорим о нестяжательности, есть внешняя сторона: не копи, не покупай, не обладай; но главное: не будь связан с предметом так, что, в сущности, не он тебе, а ты ему принадлежишь, потому что всегда бывает так, что оба друг друга держат. Когда я мальчиком был, помню, бабушка мне рассказывала, как после какой-то битвы между турками и греками, где греки одержали победу, в темноте греческий солдат кричит своему офицеру: “Поручик, поручик, я взял турка в плен!”.. Тот отвечает: “Так тащи его сюда!” – “Не могу, он меня слишком крепко держит...” Понимаете, дело-то в том, что он его “взял в плен”, потому что его сторона одолела, но раз, держа его, он и сам не мог двинуться, он такой же пленник был. То же самое с карандашом: он меня держал в пленау.

Теперь к вопросу богатства и бедности: Иоанн Златоуст говорит, что беден не тот человек, у кого чего-то нет, а тот, который желает чего-то, чего не имеет. У вас может быть все, что хотите; **одной** вещи, которой вы страстно желаете, нет – и вы обездоленный человек. Это бывает в чувствах, это бывает в предметах, это бывает в обстоятельствах. С другой стороны, можно быть удивительно богатым при дикой бедноте. В одной своей книге немецкий еврейский писатель Мартин Бубер рассказывает о раввине, жившем в XVIII веке в северной Польше; жил он в дикой бедноте, в холода, в голоде, в оставленности. И каждое утро он с воодушевлением произносил молитву, которая называется “Восемнадцать благословений”. Кто-то из его соседей к нему пришел, говорит: “Слушай, как ты можешь быть таким лживым? Ведь ты ни себя, ни нас, ни Бога не обманешь: мы все

знаем, что Бог тебя обездолил до конца, – и ты это знаешь; чего же ты Его благодаришь, за что?.. И тот ответил: “Ты не понимаешь сути дела! Бог на меня посмотрел и подумал: что ему нужно, чтобы он вырос в полную свою меру? Ему нужен голод, холод, одиночество... И этим Он меня одарил **так** обильно, что я Его день за днем благодарю”. В этом случае понятия богатства и бедности очень своеобразны.

То же можно сказать о таком понятии как целомудрие. Целомудрие не определяется ни внешним поведением, ни даже, в какой-то мере, чистотой мысли; это гораздо более целостное отношение. Это отношение, при котором, глядя на человека, мы видим в нем кого-то, кого Бог сотворил с любовью, кого Он одарил вечным призванием и вечной судьбой, а нам предлагает этому человеку содействовать и служить, чтобы он достиг полной своей меры. То есть целомудрие – не только половой момент, это момент целостного отношения к человеку. Это, опять-таки, осуществимо в монастыре, вне монастыря, в пустыне. Конечно, во внешней, мирской жизни вопрос ставится более постоянно, более остро, более требовательно, чем когда вы ушли в монастырь, – если вы не даете своему воображению создавать то, чего жизнь не способна создать; потому что больше людей сходило с ума от воображения, чем от фактической жизни.

То же с послушанием. Мы думаем о послушании большей частью так: один приказывает, другой исполняет; но это очень примитивный подход к послушанию. Послушание заключается в том, чтобы человек **вслушивался** – вот первое; не в том, чтобы он просто слышал какие-то приказы и их исполнял, потому что это внешнее, физическое послушание; такого рода послушание присуще, в конечном итоге, и собаке, если ее прошколить. Послушание составляет способность человека, который выбрал себе наставника, учителя – или в самом глубоком, сильном смысле, или даже в простом смысле этого слова, – быть его учеником. Дисциплина – от слова *discipulus*, то есть ученик – тот, кто хочет, чтобы его чему-то научили, который ради этого вслушивается в каждое слово, вдумывается в каждое слово, старается уловить не только формальный приказ или совет, но войти в мысль и в чувство, которые его продиктовали, и старается через все это перерести себя и вырасти в меру своего учителя, который тоже, в свою очередь, старается вырасти в другую меру, в конечном итоге – в меру Спасителя, Который сказал: *Я – единственный ваш Учитель*.

И тогда послушание делается чем-то совершенно другим: это не пассивность, это самая высшая форма активности души и тела. Но где-то в послушании есть момент, когда оно должно быть абсурдно, то есть когда

оно должно быть исполнением чужой воли, раньше чем поймешь ее. Ведь пока я понимаю, почему мне дали то или другое приказание или совет, это не послушание, в конечном итоге, это исполнение моей воли, которую я получил от другого, с которой я соединился, сделал своей и теперь ею живу. Но когда, в примерах пустыни, давали приказания как будто бессмысленные, тогда человек привыкал к тому, что слово, которое он слышал, он мог принять; и воля приказывающего была для него важнее и значительнее собственных влечений или соображений. И цель всего этого, в конечном итоге – сделать нас способными так отрешаться от своей воли, так отрешаться от всякой предвзятости, чтобы, когда заговорит Бог, мы могли слышать и исполнить Его слова, даже если они кажутся нам совершенным бредом и абсурдом.

Если вы возьмете Евангелие и предложите его человеку внешнему, и он прочтет там: *если тебя ударят по одной щеке, подставь другую*, – он вскинет плечами: “Вздор! Так жить нельзя!” Если он прочтет, что для того, чтобы жить, надо умереть, он поклонится плечами: “Это неправда!” В Евангелии такого много. Есть в Евангелии, с точки зрения человеческой мудрости, момент безумия; и нельзя соединиться с безумием креста, с безумием евангельским иначе, как путем целой школы послушания; но опять-таки, требует ли это монастыря или пустыни? Нельзя ли научиться отрешаться и отрекаться от своей воли при других условиях? Говоря лично – когда я поставил своему духовнику вопрос: “Вот я сейчас иду в армию, как я буду осуществлять свое монашество? в частности, послушание?” – он мне ответил: “Очень просто – считай, что каждый, кто тебе дает приказ, говорит именем Божиим, и твори приказанное как волю Божию, не только внешне, но всем нутром. Считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет – твой хозяин, и служи ему, как купленный раб”. Если так подходить, то, пожалуй, армия – самая блестящая школа послушания и абсурдного, и разумного.

Так что даже если брать этот путь в его форме тайного монашества, когда вы ничем не должны проявиться так, чтобы люди заподозрили вас в монашестве, то ясно и просто: **всё** можно осуществить. Что это не удается – дело другое; но это не вина обстоятельств и не вина существа дела. И абсолютный радикализм Евангелия, мне кажется, возможен, и применение всего того, чему учит Добротолюбие, возможно – при условии, что мы не считаем, что все должно быть соответственно **по форме**, потому что очень часто форма соответствует, а **свобода духа** потеряна.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Как соотносить Иисусову молитву с молитвенным правилом? Как

вообще быть с правилом?

Первое – что касается правила. Когда читаешь Добротолюбие или жития некоторых святых, встречаешь такие фразы: своди уставную молитву на предельный минимум и дай простор Иисусовой молитве... Если попробуешь докопаться, что этот отец Церкви называет “минимумом”, вот вам пример. Григорий Синаит пишет, что надо свести уставную молитву к абсолютному минимуму: всего-то читай полунощницу, утренние молитвы, утреню, вечерню и повечерие... Посмотришь и думаешь: ну и ну!.. Потому что после того как ты спокойно отмолился какие-нибудь восемь часов, у тебя остается, вероятно, десяток часов на Иисусову молитву. Но тут надо сообразить, что то, что он называет сокращением устава до минимума, для нас соответствует доведению устава до беспредельного максимума. Так что когда мы читаем у отцов Церкви: оставь отчасти уставную молитву, – мы из этого заключаем: ох, чудно! Я не буду молиться ни вечером, ни утром, заведу четки и все будет хорошо... Вот тут-то и нет! Отцы очень настаивают на том, что надо долго навыкать параллельно уставной молитве и Иисусовой молитве, потому что уставная молитва питает нас иначе, чем Иисусова молитва, питает нас на другом плане.

Во-первых, в уставной молитве есть громадное разнообразие, тогда как в Иисусовой молитве есть порой очень мучительное **однообразие**. Повторяется одна-единственная формула. Я не хочу сказать, что она беднее, но у человека непривычного рождается какой-то голод ума, голод чувства, голод к тому, чтобы молиться словами и образами и последованиеми, которые его возбуждают. Если взять просто вечерние или утренние молитвы: там содержится целый ход мыслей; по их расположению идет переход от чувства к чувству; они не в случайном порядке расположены. В пределах каждой молитвы – слова, которые были написаны святыми, не надуманные, а вырванные с кровью из души или в моменты большого подъема, или в моменты мучительного страдания; через эти слова мы можем немножко прозреть, чем жил этот человек. Мы можем немножко приобщиться к тому, что составляло его душевно-духовную жизнь. Мы можем, если эти слова принять не только как выражение наших желаний, наших прошений, но также как мерку христианской жизни, стараться **жить** согласно с нашими молитвами. Если я утром сказал: “Господь, даждь ми терпение”, я должен учиться терпению в течение дня, а не ждать, чтобы Бог мне дал просто так, – и т.д. Значит, эти молитвы питают нашу душу, и если мы к ним относимся вдумчиво, если мы их не только продумаем, но, как Феофан говорит, их

“обчувствуем”, то наши мысли пронизываются понятиями, которые принадлежали отцам; и постепенно мы начинаем думать их мыслями, наше сердце склоняется к их чувствам, и мы меняемся соответственно. Наша воля, направленная по руслу этих молитв, выпрямляется и выпрямляется согласно Божией воле; поэтому они необходимы. Попутно скажу, что если мы хотим молиться этими молитвами плодотворно, надо, во-первых, их употреблять трезво, спокойно, из глубины внутреннего убеждения, и предоставляем Богу, а не нашей душевности родить в нас соответственные чувства.

Другое, что необходимо (я уже об этом сказал): что бы мы ни говорили в молитве, мы **должны** осуществлять в жизни. Если этого не делать, то через самое короткое время слова молитв делаются приторными и вгоняют нас в уныние, потому что это пустые слова; и мы отлично понимаем, что ни Бог, ни мы сами ими не живем.

А третье – совет, который мне был дан в свое время: когда мы молимся какой-нибудь молитвой и знаем, кто эту молитву составил – Марк Подвижник, Василий Великий, Симеон Метафраст – раньше чем ею молиться, можно остановиться, обратиться к святому и сказать: “Вот, я сейчас приступаю к чтению твоей молитвы; помолись, чтобы и мне приобщиться твоему духу” – в меру наших возможностей, разумеется. Так, чтобы молитва, которая выросла из всего опыта данного святого, нас и с ним связывала – любовью, почтением, его благословением, его молитвами.

Делая это, можно приступить к Иисусовой молитве, и это второе, о чем я хотел бы сказать. К деланию Иисусовой молитвы можно подойти совершенно различно. Можно стараться, например, учиться Иисусовой молитве так, как описывает Странник или Добротолюбие, воспринимая ее как почти исключительную внутреннюю активность. Это возможно при определенных условиях: руководства, времени, тишины и т.д.

Есть и другой подход, доступный всем: употребление этой молитвы, как любой другой, принимая в учет, что она полна смысла, глубины, но ни в коем случае не является магическим приемом, как Феофан говорит, талисманом, амулетом, который нам позволяет достичь чего-то как без труда и потов. В этом плане Феофан дает совет – причем в письме к мирянке; он говорит: употребляй Иисусову молитву, как **всякую** другую молитву, **не** воображая, что ты делаешь что-то особенное, значит, не гордясь тем, что ты стала “делательницей” Иисусовой молитвы или чем-нибудь таким. И употребляй ее так: между каждыми двумя молитвами правила – пять Иисусовых молитв. Как? – Во-первых, с предельным вниманием, которое ты можешь вложить в молитвы; во-вторых, со всем

благоговением, которое ты можешь вложить в действие, когда подходишь к Живому Богу. В- третьих, с надеждой и мольбой о покаянии, о том, чтобы Бог тебя изменил – и ничего другого. Не вкладывай чувств и мыслей в нее, пока молишься. Предоставь Богу дать тебе любые мысли, любые чувства, какие Он захочет; а ты Ему просто говори, предстоя перед Ним.

Если навыкнуть этому, если Иисусова молитва привьется, тогда можно молиться немножко больше. Но совершенно необходимое условие: в начале выбирать такое время, когда можно ею заниматься без развлечения, без помехи, со всем вниманием и благоговением; причем заниматься не долгое время, а, скажем, прочесть десять раз. Если есть возможность – сказать молитву; помолчать; положить земной поклон; встать; дать себе телесно успокоиться; и произнести молитву еще раз. Если класть поклоны и употреблять Иисусову молитву одновременно и быстрым ритмом, тогда постепенно от телесного упражнения рождается какое-то полуистерическое состояние, набегает одно на другое – так что человек теряет трезвость. В Иисусовой молитве, как во всякой молитве, надо избегать того, чтобы нарастило какое-то настроение; все, что произойдет в душе, должно быть от Бога. **Он** должен вложить в нас чувства; Он должен дать нам мысли; Он должен исправить нашу волю; Он должен как-то дойти до нашего тела. Но мы не должны это делать путем как бы взвинчивания себя, – это очень важно.

Можно прочесть Иисусову молитву десять раз и успокоится. Если в течение дня Бог на душу положит несколько раз повторить молитву, надо это делать; но надо всячески стремиться делать это с очень ясным вниманием. Если внимание случайно отрывается от молитвы, это не драма; но если мы приступаем к молитве, зная, что сейчас мое внимание **никаким образом** не может к ней прилепиться, я просто занят другим и как бы сознательно вступаю в молитву **невнимательно**, это губительно. Губительно просто потому, что очень легко привыкнуть к какому-то механизму и потерять молитву при этом, так же как, скажем, люди, которые выполняют большие молитвенные правила, часто теряют молитву, потому что – когда же им молиться, когда они молитвословят?!

Следующее, самое, может быть, существенное в Иисусовой молитве: эта молитва – **предстояние** перед Богом; в ней как бы нет движения от мысли к мысли. В Молитве Господней мы переходим от одного понятия к другому: *Да будет воля Твоя.., да приидет Царствие Твое...* и т.д. Здесь же – совершенное единство темы, нет никаких переходов. И она позволяет научиться молитвенно и жизненно предстоять перед Богом, просто стоять перед Ним как бы в совершенной неподвижности. И в этом отношении

она, конечно, преимущественно молитва того, кто пребывает внутри себя, кто пребывает, скажем, в затворной келье. Но она же является и путем к этому, потому что такая стабильность достигается не внезапно, а постепенно обучением себя этому предстоянию.

Теперь – содержание этой молитвы. Добротолюбие, местами и Странник, цитируя его, говорят, что она – сокращение всего Евангелия. И действительно, в ней две части; первая: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий...* Здесь исповедание веры, здесь напоминание нам, Кто Тот Бог, перед Которым мы стоим. Перед Кем я нахожусь? Кто Он?.. – причем напоминание не какого-то статического Бога, а напоминание о Боге, которое нас всё время к чему-то обязывает.

Возьмите коротко каждое слово:

Господи. Во-первых, Священное Писание нас учит, что никто не может назвать Христа Иисуса своим Господом, если он не движим Святым Духом. Значит, сказать Христу “Господи”, это уже войти в какое-то отношение с Господом Духом Святым. Это уже выразить тот опыт, который нам дан даром Святого Духа, Его неизречеными мольбами внутри нас или Его ясным словом молитвы в нашей душе. Но второе: сказать “Господи” нас обязует к тому, чтобы признавать Его на самом деле Господом, хозяином нашей жизни. *Не всякий, говорящий Мне: “Господи, Господи!”, войдет в Царство Небесное...* И если только я дерзаю сказать Богу “Господи”, это значит, что я Его безраздельно признаю своим Господом, хозяином моей жизни, и все без исключения что в моей жизни будет происходить, всякую встречу, всякое событие – все без остатка я буду принимать как от Его собственной руки: все, что я буду делать, я буду делать как верный слуга, раб, наемник или сын, в зависимости от того, в какую меру я достиг – ради Него.

Далее: *Иисус* – исповедание исторической истинности Воплощения. Это земное, человеческое имя Сына Божия, ставшего сыном человеческим; это центральное исповедание христианской веры.

Христос – Помазанник: исполнение закона и пророков.

И, наконец, *Сын Божий* – потому что мы знаем то, чего Ветхий Завет не знал; мы знаем, что Он поистине Сын Бога Живого.

Эта формула может показаться сначала чисто Христоцентричной, то есть сосредоточенной ни на ком ином, как на Христе Спасителе. На самом деле это не так; мы не можем назвать Иисуса Господом иначе как Духом Святым; мы не можем говорить о Сыне Божием, забывая об Отце. И тут оказывается нечто очень важное: Христос Себя называет *дверью*. Он – дверь, которой входят, Он – путь, которым идут, Он – не конечная цель в

этом смысле. И вот это – полное, содержательное исповедание веры. Сказав это, мы действительно стоим перед Богом Живым, Богом Евангелия.

А вторая часть: *Помилуй мя, грешного*. Слово “грешный” в ней имеет как бы два оттенка. С одной стороны, каждый из нас грешит фактически – словом, делом, помышлением. С другой стороны, быть грешником, это не только значит – грешить, это состояние, а не только поступок; и в конечном итоге это состояние отделенности, отрубленности. Мы отделены от Бога; мы отделены друг от друга, если даже мы ничего не делаем предосудительного по отношению к Богу или к ближнему; до тех пор, пока мы отделены, мы в состоянии грешности. И это состояние мы должны были бы воспринимать как предельно трагическое, потому что быть отделенным от Бога значит нести на себя смерть; это **смертная опасность**. Она должна бы нас побуждать к этому **крику** Иисусовой молитвы постоянно, если бы только мы осознавали, **како опасно ходим**, как страшно это состояние оторванности, в конечном итоге – от жизни, от любви.

И затем смысл слова *помилуй*. Его значение глубже и богаче, чем то, какое мы вкладываем, когда думаем о слове “помилуй” почти что в смысле “пожалей”, “отнесись ко мне без гнева”. Комментарий, который дают некоторые отцы греческого Добротолюбия, заключается в том, что корень греческого слова “элейсон” (“помилуй”) и того слова, которое дало по-гречески “оливковое дерево”, “оливковое масло” – один и тот же. Филологи об этом спорят; но достаточно того, что отцы Церкви мыслили в этом порядке. И можно себе представить, что это значит помимо филологии, если посмотреть на Священное Писание. Первый момент, когда появляется образ оливкового дерева, это конец потопа. Ной посыпал голубя, который приносит ему веточку оливкового дерева, и эта веточка значит, что гнев Божий прекратился, милость и прощение Божии – даром, незаслуженно, по одной любви – даются человечеству, и теперь, когда видна земля, перед ним есть будущее, перед ним расстилается жизнь. Вот первое, что мы можем видеть в слове “помилуй”, “элейсон”.

Но недостаточно, чтобы перед нами было будущее. Дорога может лежать перед нами, а мы не в состоянии шагнуть и шагу по ней, если парализованы болезнью, ужасом, страхом, нерешительностью. И второй образ: добрый самарянин, который возливаает на раны человека, попавшего к разбойникам, вино – очищающее, жгучее, и масло – исцеляющее. Нам нужно исцелить душой и телом, чтобы воспользоваться тем, что Бог предлагает нам.

И последнее. Есть образ в Ветхом Завете – помазание царей и священников. Почему нужно помазание? Потому что и первосвященник, и царь стоят на грани между святыней Божией и грехом человеческим, между единой волей Божией и противоречивыми волями человеческими. И тот, и другой, каждый в своей сфере, призваны к тому, чтобы согласовать одно с другим: чтобы народная воля Древнего Израиля была бы волей Божией. И на этой грани стоять человек не может, потому что всякий человек под судом Божиим. В Послании к евреям говорится, что Первосвященник входил во Святая Святых единожды в год и то не без крови, потому что должен был принести жертву за себя и за народ, раньше чем сам войдет в святилище. Только один Человек мог стоять на этом месте – Тот, Которого Павел называет *Человек Иисус Христос* (*Рим. 5:15*), именно подчеркивая, что Он – Человек в **полном** смысле слова. Именно потому что Он – Бог и человек, Он может стоять на этой грани и как Бог, и как человек без осуждения. Вот это третья форма освящения, помазания.

Если вы спросите, какое это к нам имеет отношение – это имеет аналогичное отношение вот в каком смысле. Наше человеческое призвание сверхчеловечно; мы не можем своими силами осуществить то, к чему призваны. Апостол Петр в Послании говорит, что мы призваны стать *причастниками Божественной природы*. Никакими человеческими силами это не может быть достигнуто; это может быть **дано** и может быть принято любовью и смирением – но не человеческими ухищрениями и силой или умением. Дальше: мы призваны стать членами Тела Христова, то есть так сродниться со Христом, так с Ним соединиться, чтобы мы были **Им**, в каком-то смысле, настолько, что Ириней Лионский в конце первого века говорил, что если мы действительно так соединены со Христом, то когда все будет завершено в конце времен, когда будет явлена полнота человечества, то мы не только будем сынами и дочерьми Божиими, но в Единородном Сыне мы будем *единородным сыном*. То есть наше положение по отношению к Богу и Отцу будет то же самое, какое имеет Единородный Сын, пришедший плотью в мир.

Далее. В Пятидесятнице, согласно рассказу, который мы находим в 20-й главе Евангелия от Иоанна, дается дар Святого Духа каждому в отдельности и всем в совокупности. Этот дар может быть **только** даром; опять-таки, мы можем быть Богоприимными, но не можем сами создать изнутри себя никаких условий, кроме как раскрытых сердец, открытых рук. И все это говорит о том, что, чтобы быть человеком, просто **человеком**, но в настоящем смысле слова, мы должны стать чем-то превосходящим всякое наше представление; а такими мы можем стать

только даром Божиим, а вовсе не собственными ухищрениями. И поэтому нам нужно излияние Святого Духа, дар Духа, помазание Духом – просто чтобы осуществить наше человеческое призвание. Я говорю сейчас не о священстве, не о монашестве, ни о чем формальном, а просто чтобы быть человеком.

А человек, словами того же Иринея Лионского – нечто очень великое. Я вам давал одну его цитату; в другом месте он говорит, что слава Божия, то есть сияние Божие – это человек до конца живой. Человек, пронизанный полнотой жизни, которая от Бога – и **есть** слава Божия, Его сияние и прославление.

Вот что содержится в словах “Кирие элейсон”, “Господи, помилуй”, и вот почему на все случаи жизни Православная Церковь отзыается в богослужении этими словами: что еще другое нужно? Начинается на самой глубине греха: Господи, да прекратится Твой гнев! Господи, дай мне – незаслуженно, даром, несмотря ни на что – Твоё прощение!.. Господи, продли мне дни жизни и открой передо мной путь!.. Господи, Ты все это мне даешь, Ты уже дал, а я не могу шагнуть вперед: душой, телом, всем естеством я расслаблен – исцели меня, обнови меня, дай мне жизнь!.. Господи, оказывается, этот путь – не земной, это путь от земли на небо; как его осуществить? Как это возможно?.. Излей на меня ту благодать, которая из меня сделает богочеловека, по образу Того, Кто, будучи Богом, стал человеком...

Вот приблизительно, насколько мне пришлось читать, содержание этой молитвы; и конечно, она только предстояние: никуда не двинешься. Куда же идти, если все – только в том, что ты стоишь с раскрытыми руками, с открытым сердцем? Это молитва как бы стойкого предстояния перед Богом; но если ее употреблять, как я сейчас говорил, при этих понятиях, с совершенной простотой, незатейливо, тогда все просто.

И последнее. В Добротолюбии, у Странника, у Игнатия Брянчанинова, у Феофана указаны телесные упражнения или телесная дисциплина, связанная с этой молитвой. В этой дисциплине есть принципы, универсальные вещи. Принцип тот, что все, что в нас происходит в душе, в мысли, или в чувстве, или в воле, так или иначе отзывается на нашем телесном состоянии. Вы сами знаете, что ваше телесное состояние, когда вы читаете что-то, что вас глубоко волнует, не таково же, как когда вы просто греетесь на солнце; и чем бы ни была занята мысль, чем бы ни горело сердце, куда бы ни направлялась воля, в зависимости от содержания и от напряженности внутреннего состояния, ваше тело меняется. И исходя опять-таки из опыта молитвы, наблюдая тот факт, что

те или другие молитвенные состояния всегда связаны с тем или другим телесным состоянием, аскеты выработали физические упражнения, которые могут создать тот телесно-душевный строй, при котором молитва легче спорится; но никакой телесный или душевный строй не может молитву ни создать, ни вызвать. В конечном итоге, вся традиция исихазма в том, чтобы достичь телесно-душевного безмолвия, глубокого молчания души и тела; и изнутри этого молчания начинается молитва. Но самое молчание – это только возможность молитвы, это не сама молитва.

С другой стороны, телесные состояния для духовных отцов могут служить гораздо более удобным и легким способом проверить качество молящегося и его духовного опыта, присутствие или отсутствие прелести, чем описания с его стороны его душевных переживаний, потому что душевые переживания очень клубящиеся, а телесные состояния – удивительно четкие вещи.

Это общий принцип. В результате были выработаны специальные технические приемы, которые можно найти у целого ряда отцов; у Симеона Нового Богослова подробно об этом пишется и у других. Но заниматься ими без руководства нет никакого смысла, потому что непременно заходишь в тупик: в какой-то момент не знаешь, куда дальше идти – это в лучшем случае. Тут опять-таки большой помощью может явиться епископ Феофан Затворник. Не то в одном из своих писем, не то в “Пути ко спасению” он говорит, что для того, чтобы вести духовную жизнь, надо быть, как хорошо натянутая струна – и этого всякий может достичь. Мы все можем научиться неподвижности или, наоборот, гармоничному движению, которое не было бы ни напряженным, ни расхлябаным. Мы можем научиться не быть напряженными в уме и вместе с этим вне всякой дремоты; мы можем не быть бесчувственными сердцем и вместе с этим не в каком-то истерическом состоянии. Вот этого мы должны искать – физически, внешне. Мы должны учиться и сидеть и двигаться так, чтобы владеть своим телом. Потому что мы можем Богу дать только то, чем мы овладели, мы не можем принести Богу то, чем сами не овладели.

Вот все, что я могу об этом сказать. Можно заниматься Иисусовой молитвой, но не делать из нее мистический фокус.

И не обязательно ею заниматься?

Я все меньше думаю, что это обязательно. Был период, когда я очень даже думал, что это обязательно; но из того, что я вижу вокруг себя последние двадцать пять лет, у меня впечатление, что есть люди, которые идут другим путем. Скажем, святитель Тихон Задонский – не человек

Иисусовой молитвы; он, может, ее употреблял в какой-то уставной форме, но это не его специфическая духовность. Есть другие, кто специфически направлен по Иисусовой молитве.

Вопрос только в том, чтобы **молиться**; причем не молитвословить, а молиться, то есть быть в живом соотношении с Богом. И в конечном итоге, начнешь ли ты с уставной молитвы, с богослужения, с Иисусовой молитвы – человек должен прийти к молчанию. Не к такому мертвому молчанию, когда ничего не происходит, но к тому состоянию, где действительно “да молчит всякая плоть человечка, да предстоит трепетом...” Это состояние живое, активное, не мертвое, не косное; и только изнутри глубокого молчания можно действительно молиться.

У кого-то из отцов есть высказывание, смысл которого: если не будет дана Иисусова молитва в момент смерти, то душа не найдет пути. Что об этом думать?

Я не помню этого высказывания, но сомневаюсь, чтобы речь шла об употреблении тех или иных слов. Например, старец Силуан говорит, что если человек раз в жизни всем естеством скажет: “Господи, помилуй!” – то Господь помилует. В этом смысле было бы очень странно думать, что если человек перед смертью не произнесет вот этих слов: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного”, то не найдет пути. Я не помню этой цитаты, ее контекста, поэтому не берусь расстолковывать, но думаю, что речь идет о крике души больше чем о словах, потому что Иисусова молитва ведь тоже когда-то появилась. Если взять раннюю пустынью – тогда употреблялись, больше чем Иисусова молитва, слова из 69-го псалма: *Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потицся...* **Это** были первые слова пустыни. Иисусова молитва пришла потом целым сплетением обстоятельств. Это молитва евангельская, это молитва Вартимея, слепца, который кричал: *Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!..* Вот ее корень. Вартимей знал Христа как Сына Давида, мы знаем больше, и наше исповедание в первых словах более полное; но это крик слепого, крик, который рождается из глубины отчаяния, когда в нем вдруг блеснула надежда.

Но в течение, вероятно, более пятисот лет Иисусова молитва не была молитвой пустыни, во всяком случае она не упоминается как постоянная, нормативная молитва, какой станет позже. Первое сколько-то достоверное упоминание мы находим в “Лествице”, это уже позже; в полном расцвете мы находим ее на Афоне, но это уже много позже. Я не думаю, что, скажем, Антоний Великий или Макарий, которые ее не употребляли в таком смысле, оказались обездоленными в час смерти.

“ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ, ПОТОМУ ЧТО ДНИ ЛУКАВЫ...”

Говение – это момент, вырванный из времени, момент, когда мы должны войти в себя и стать перед своей совестью, перед лицом всей своей жизни и перед лицом Божиим и произнести над собой суд. Этот суд не обязательно во всем отрицательный. Мы знаем из Священного Писания, что свет и во тьме светит и тьма бессильна его заглушить. Так, каждый человек имеет в себе свет, благодаря которому он может видеть и себя, и жизнь, и мир, и, в конечном итоге, в самой глубине бытия, в самой сердцевине своего “я”, встретиться с Живым Богом. Этот свет в одном плане является нашей совестью: это свет, который изливается на наши поступки, на наши мысли, на движения нашего сердца, на наши желания, на движения плоти нашей. Этот свет беспощадно и правдиво освещает все и дает нам возможность видеть вещи, как они есть, а не как в течение большей части нашей жизни мы изо дня в день их видим – туманно, или такими, какими мы хотели бы их видеть. Но глубже этого света нашей совести, которая часто привыкла молчать – потому что мы ее заглушаем, мы к ней не прислушиваемся, и совесть, изначально говорившая ясно, твердо, постепенно как бы теряет надежду быть услышанной и только шепчет нам свои предупреждения, – глубже еще, чем голос нашей совести, звучит в нас голос Христов. Голос Христов звучит через слова Священного Писания, через Его собственные слова, обращенные к каждому из нас; и не только через слова. Христос обращается к нам **всей** Своей жизнью; Он стоит перед нами, и как бы повторяются, звучат в наш слух слова о Нем Пилата: “Се Человек!” Посмотрите: вот что представляет собой Человек в полном смысле этого слова...

Мы видим Христа как человека совершенно по-иному в двух крайних моментах евангельского повествования: в славе на горе Преображения и в полном унижении перед лицом Пилата, оставленным учениками, отвергнутым всеми теми, кто на Него надеялся ложной надеждой, и окруженным ненавистью тех, которые с самого начала ждали и искали Его погибели. Но и на горе Преображения Христос, явившейся в славе, сияет немерцающим светом Божества и всем благолепием человеческой личности в тот момент, когда Он беседует с пророками Моисеем и Илией о времени Своего исхода, то есть о времени, когда Он будет предан в руки человеческие, когда Он будет отвергнут, оклеветан, беззаконно осужден и, в конечном итоге, умрет на кресте. А между этими двумя крайностями, которые являются нам и изумительное величие человека, и страшную его судьбу, мы видим Его действующим в среде учеников, в среде пестрой, разнообразной толпы, которая Его окружает. И каждое Его слово метко,

ясно обращено к совести того или другого человека, а вместе с этим к сознанию и совести каждого человека, который способен эти слова Его воспринять. И вот в течение нашего говения мы должны стать перед лицом своей совести и с молитвой, с мольбой обратиться ко Христу Богу, прося и моля Его раскрыть нам те глубины, которые совесть наша, потускневшая от нашего небрежения, не освещает до конца, прося Его сказать нам Свое державное слово о том, о чем совесть наша еще не научилась или перестала говорить.

И вот сегодня мне хочется поставить перед нами всеми – и перед самим собой и перед каждым из нас, собравшихся – один вопрос.

Не так давно в Послании апостола Павла мы слышали предупреждение и призыв *дорожить временем, ибо дни лукавы...* “Лукавы” в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами без границ. Каждое мгновение нам кажется, что за ним последует иное мгновение, что времени впереди еще много. А вместе с этим, Христос нас ясно предупреждает: Безумный, разве ты не знаешь, что в эту самую ночь, в течение которой ты рассчитываешь на отдых, на забытье, твоя душа будет из тебя вырвана. Смерть придет, конец жизни придет, времени придет конец... И в другом месте Христос говорит, что надо творить дела света, пока еще есть свет, что придет время, когда света не будет для нас, и тогда наш путь будет темен... Надо творить дела света, пока есть жизнь и время, – то мгновение, в котором мы сейчас живем, не будущее мгновение, которое может никогда не настать, и пока еще говорит в нас совесть, пока мы еще можем вслушиваться в слова Спасителя, вглядываться в Его облик и, как Он Сам сказал, следовать тому примеру, который Он нам дал.

Есть детский рассказ, который, может быть, некоторые из вас уже слышали от меня. Мудрецу было поставлено три вопроса: кто самый значительный человек на свете? какой самый важный момент жизни? какой самый важный поступок человек может совершить? И как во всех детских сказках, этот мудрец, озадаченный поставленными перед ним вопросами, ходит и ищет ответа – у других мудрецов, в книгах; и не находит. Не находит ответа ни в себе, ни вне себя. На обратном пути в город, когда уже настает время суда над ним и его позора, он встречает в поле девочку, которая пасет гусей. И она его останавливает: “Почему у тебя такой печальный вид? что с тобой?” Мудрец ей отвечает: “Ты этого понять не можешь...” – “А ты скажи!” И он даже не с отчаяния, а из глубины своей окончательной побежденности ей говорит, какие ему поставлены вопросы. И она на него смотрит с изумлением, потому что

земная мудрость не закрыла ей глаза на совершенную простоту вещей, и говорит: “А в чем трудность? Самое важное время – это теперешнее мгновение; ведь прошлого больше нет, а будущее еще не настало. У тебя, у меня – только вот это мгновенье, в котором мы живем. Самый важный человек – тот, с которым ты сейчас находишься, другого же нет. А самый важный поступок – сделать в **это** мгновенье для **этого** человека самое лучшее, что можешь”. Это очень важная сказка, потому что действительно, никто из нас не знает, сколько он проживет, и еще меньше знает, в каком состоянии он будет в течение остающихся мгновений или годов своей жизни. В одно мгновение самый великий ум может пошатнуться от того, что в мозгу разорвался маленький сосуд. В любое мгновение человек может стать бесчувственным к горю, к нужде другого человека: вдруг, почему-то, что ему неведомо, непонятно, его сердце окаменело и не может отзваться на нужду, на которую он и хотел бы, может быть, отзваться. Апостол Павел с нами делится своим ужасом о том, что то добро, которое он любит, к которому стремится, ради которого хотел бы жить и умирать, он не творит, а злу, которое ненавидит, которое для него стало чужим через встречу со Христом, он поддается все время. Значит, ни на ум наш, ни на сердце, ни на решимость нашу, ни на силы наши, ни на волю нашу мы не можем до конца рассчитывать. Мы не можем отложить ни на мгновение то, что надо исполнить **сейчас**, потому что если оно не будет исполнено, оно, может быть, **никогда** не станет для нас спасительной, а для другого – преображающей возможностью жизни.

В “Дневнике” отца Александра Ельчанинова есть место, где он говорит, что добро надо творить **спешно**. В то мгновение, когда добрая мысль блеснула в нашем сознании, мы должны немедленно привести ее в исполнение, превратить мысль в дело, потому что, как он говорит, когда приходит благая мысль, когда рождается доброе побуждение в нашем сердце, когда дрогнет наша воля от желания творить добро, самым большим искущением является мысль: “Да, конечно, но не сейчас; сейчас я же занят другим, ценным, значительным, нужным, необходимым, приятным!” Если только мы дадим себе времени отложить доброе дело, оно никогда не будет исполнено, потому что порыв нашего сердца уляжется, воля успокоится, мысль потускнеет, и, может быть, даже самая возможность совершить это дело пройдет. Вдруг мы почувствовали: мне **надо** навестить такого-то человека, мне **надо** такому-то человеку написать или позвонить по телефону или совершить то или другое дело, о котором он просил и которое мы откладывали... И мы отложим; и через самое короткое время увидим, что стало поздно: либо другой человек это сделал,

и тогда делается больно; либо человек, которому мы должны были послужить, умер, и тогда горе наше делается безысходным: стало поздно, непоправимо поздно ...

Еще другое искушение бывает: “А должен ли я это сделать? Ведь это дело может сделать кто угодно. Масса народа вокруг, которые знают об этой нужде, – почему мне это исполнять?” А порой бывает еще более просто и цинично: “Мне слишком сейчас хорошо, чтобы отрываться от той радости, того покоя, того счастья, того дела, того чтения, того отдыха, которому я сейчас предаюсь”. И опять-таки, в каждом из этих случаев и в других случаях, которых я и перечислить сейчас не могу, мы пропускаем мгновение – и так часто бывает **поздно**: если бы ты это слово мне сказал раньше, если бы ты на мгновение раньше положил руку на мое плечо, если бы немножечко раньше посмотрел мне в глаза, я увидел бы, что ты меня жалеешь, или понимаешь, или не презираешь, как другие, или не стал мне чужим, остался, как прежде, моим другом!..

Слово “поздно” – очень страшное слово. Мы его употребляем легко, и это вполне естественно, потому что в нашей жизни большей частью то, что не сделано сейчас, удается сделать немного спустя; но в конечном итоге это слово грозно стоит перед нами. Есть у Достоевского размышления об аде, где он определяет ад словом “поздно”. Жизнь прошла, время, когда ты мог отозваться сердцем, охватить и осознать умом, волю напрячь для того, чтобы сделать доброе дело – это время прошло. Время делания прошло, и теперь ты находишься перед лицом вечности, в которую уже невозможно внести то, чего ты не внес путем всей своей земной жизни. Стало поздно. Это очень страшное слово.

Можно ли сказать, что никакой надежды нет? В каком-то смысле на себя человек никаким образом надеяться не может. Став перед лицом Божиим с пустыми руками, с оскверненной жизнью, он стоит беззащитно перед судом вечности. Но кончается ли наша жизнь этим мгновением? Я скажу сейчас нечто, во что я глубоко верю, но на что надеяться никаким образом нельзя для того, чтобы себе дать “право” не творить добро спешно, немедленно, творчески. Наша жизнь – я об этом говорил не раз – не кончается в день нашей земной кончины. Наша жизнь продолжает иметь как бы отзвуки в жизни и в судьбе других людей, начиная с самых близких. Наша личность, каждое наше слово, наше обращение, открытость или замкнутость нашего сердца, сила наших убеждений, творческое исполнение нами добра или зла – кладет на них неизгладимый отпечаток. Печать всей нашей жизни несут не только наши близкие, но те, кто все расширяющимися кругами, как рябь на воде, с нами связан, которые,

может быть, меньше наших близких ощутили свойства нашей личности. А порой люди были ранены нами глубже кого бы то ни было, потому что мы прошли через их жизнь, как нож врезается в человеческое сердце: в момент трагедии мы показали им безразличие, в момент нужды мы их обошли, а порой отнеслись к ним со злобой. Поэтому и дальние могут быть нами ранены, – ранены на жизнь. Но, и наоборот, и ближние, и дальние могут на себе, в своих глубинах нести отпечаток всего добра, которое мы, возможно, совершили перед ними, по отношению к ним, будучи примером, а порой даже будучи просто призывом.

Есть замечательное, утешительное слово в писаниях Иоанна Лествичника; мы никак не можем принять его за разрешение не творить то добро, к которому мы призваны, но оно открывает какую-то надежду для нас. Он говорит, что придет время, когда все станут перед судом Божиим, и мы с ужасом увидим, что на нас должны исполниться слова Спасителя: *От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься*. То, что мы говорили, что мы проповедовали, в чем убеждали других, мы не исполнили. Каждое слово правды, которое мы произнесли, каждое истинное слово, которое мы изрекли, теперь встает перед нами, как бы осуждая нас: ты это **знал**, ты это другим говорил – а сам? ты не прикоснулся к тому, к чему призывал всех... Но в тот момент (Иоанн Лествичник говорит не столькими словами, более скрупульно, чем я умею сказать) все те, которые получили через эти слова вдохновение, которые были этими словами научены, которые нашли свой путь в жизни благодаря сказанному тем, кто сам не исполнял того, что проповедовал, они встанут и скажут: "Господи, прости ему! Если бы он не говорил, я не знал бы пути, истины, правды и жизни!"

Но утешаться этим нам никак нельзя. Однако мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу **жить**. Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий – **существует**. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить.

Когда мы собираемся на панихиду и молимся об усопших, разумеется, мы не просим Бога быть к усопшим несправедливыми, потому что мы-де Его просим об этом. Нет, когда мы собираемся вместе или когда в

отдельности стоим перед Богом и молим о ком-нибудь, мы как бы Богу говорим: “Господи, этот человек не напрасно прожил на земле! Да, он поступал, как всякий из нас, греховно, но смотри: он в мое сердце вложил благодарность, которая не умерла за многие годы. Он в мое сердце, в мой ум, в мою волю, во все мое существо внес вдохновение к добру. Он был светом в моей жизни, – он не может потухнуть. Не Ты ли сказал, что свет и во тьме светит. Значит, этот свет и в нем был. Благослови его за то, что он совершил надо мной!” Очень важно, что между нами не только просто круговая порука; я думаю, допустимо сказать, что у каждого из нас есть власть жизни и смерти над всяkim человеком, который нам встретится лицом к лицу, или – если мы пишем книги, делаем передачи – встретится неведомым образом, ум к уму, сердце к сердцу, вера к неверию, надежда с безнадежностью, огонь любви с холодностью. Это мы должны помнить, но все-таки мы не имеем права утешаться этим и думать, будто никогда не будет поздно. Любовь других, даже рожденная из того, как мы прожили по отношению к ним, не оправдывает того, что мы не сотворили сами добра, о котором ясно знали, о котором говорила наша совесть, о котором нам говорил Христос и которое было доступно нам через все обстоятельства нашей жизни. Вот задумаемся над этим словом “поздно”, потому что в нашей жизни должны **постоянно** звучать слова апостола Павла: *дорожите временем, ибо дни лукавы; время обманчиво.*

В древности отцы Церкви постоянно говорили о том, что надо “иметь память смертную”. Когда об этом говоришь современному человеку, его реакция такова: неужели память о смерти должна отравить каждое мгновение моей жизни? неужели над каждой радостью, над всем светом моей жизни должна простираться темная туча грядущей смерти?.. Нет, не так надо это понимать. “Иметь память смертную” не значит бояться смерти, это значит, что каждая наша мысль, каждый наш поступок, каждое движение нашего сердца должны нами судиться перед лицом возможного мгновения, когда будет поздно, и что, если наши поступки делаются малодушными, нерешительными, если наша воля колеблется, потому что нам страшно последствий наших поступков, мы никогда не будем жить всей полнотой нашей жизни. Страх о последствиях нам будет постоянно мешать творить полностью, смело, мужественно то добро, которое творить мы призваны. А мы призваны творить добро, потому что мы посланы Христом, мы Его ученики. Он нас послал в мир строить град человеческий, который был бы соизмерим граду Божию. Он нас послал быть Его образом, иконой в действии; Он нас послал в этот мир для того, чтобы каждый, кто встретит нас, услышал Его голос, в нашем лице увидел

сияние вечной жизни, в наших глазах – правду, трезвость и сострадание Божие. И мы должны помнить, что мы ответственны не только за себя, но и за судьбу всех, кого мы встречаем, и всех, которые через других получат отпечаток нашей личности.

Продолжая беседу с моего последнего замечания о том, что мы посланы строить мир так, чтобы град человеческий совпадал по своим измерениям, глубиной и святостью с градом Божиим, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы, однако, живем в мире, на который все страшнее смотреть. Жадность, беспощадная жестокость царствуют как будто беспрепятственно; голод, холод, обездоленность держат в плену миллионы людей, и недостаточно нам, верующим, обращаться к Богу с мольбой о том, чтобы земля приносila плод свой, чтобы солнце грело землю, чтобы благовременные дожди ее орошили, как мы действительно молимся на многих службах. Давным-давно уже было сказано православными подвижниками, что три воли правят судьбой земли. Первая – это воля Божия, всегда благая, вторая – темная, злобная воля сатаны (то есть противника Божия) и злых сил; и третья, которая между этими двумя волями колеблется – воля человеческая. Бог нас зовет, бес нас соблазняет, и нам надлежит сделать выбор между тем, куда нас зовет Бог, и той бездной, в какую нас хочет вовлечь сатана. И судьба земли, как ни страшно это сказать, зависит от того, какой выбор мы делаем, чью волю мы вводим в это мир, под чьим руководством мы его строим. И мы не имеем права думать, что за то темное и страшное, что происходит вокруг нас, ответственны **другие**. Каждый из нас вносит свою долю в эту борьбу между светом и тьмой, между правдой и неправдой, между жизнью и смертью, между злой силой и Божественной силой, между Живым Богом и убивающим тварь сатаной. Ответственность полностью лежит на нас. Бог совершил **всё**, что Ему надо было совершить. Он вызвал мир из небытия. Он этому миру предложил не только Свою жизнь, но и Самого Себя, Он предложил нам разделить с Ним **всё**, что принадлежит Ему, и так с Ним сродниться, чтобы **нам**, каждому в отдельности и всему человечеству, стать *причастником Божественной природы*. И когда человек отпал от своего призвания, отделился от Бога, своей волей пошел по пути к смерти – и тогда Бог его не оставил. Когда Бог создавал мир, Он в Своей предвечной мудрости, конечно, знал, что случится. Я уже цитировал слова, написанные в свое время в “Житии” протопопа Аввакума о том, как он себе представлял начало времен:

И сказал Отец: Сын Мой, сотворим мир и человека! – И Сын ответил: Да, Отче... И Отец сказал: Но человек отвернется от Нас, и для того, чтобы

его спасти, Тебе придется стать человеком и умереть на кресте... -И Сын ответил: Да будет так, Отче!.. И тогда совершилось сотворение мира.

Таким образом, еще до начала времен Божественная Любовь, которая была Троичным ликованием, одновременно приняла в Себя крест, смерть и преодоление смерти подвигом отдающей себя любви. Поэтому мы можем сказать, что Бог все нам дал как возможность, как дар и как призвание, и в этом деле творения и промышления поступил ответственно, взял на Себя полную ответственность за Свой первичный акт творения и за все последствия, которые не от Него, а от нас, людей, зависели. Он принял все последствия на Себя, включая смерть, но смерть не естественную, – смерть, которая была результатом Его приобщения к судьбе отпавшего от Бога человека. Слова: *Боже Мой! Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* выражают, что Он приобщился всему человечеству и каждому человеку, который потерял Бога. Он умер от этой потери, как мы умираем от того, что потеряли Бога, не обладаем укорененностью в Боге. На седьмой день творения Бог почил от дел Своих. Он все совершил, что надо было совершить для того, чтобы этот мир, от самой малой кручинки до самой величайшей, величественной звезды, стал славой Божией, стал таким, чтобы, по слову апостола Павла, Бог мог быть всем во всем. И в этот седьмой день, когда Бог почил от дел Своих, Он отдал этот мир человеку, который принадлежал и духовному миру, и вещественному миру, для того чтобы человек **весь** этот вещественный и душевный и духовный мир довел до совершенства, до того момента, когда действительно этот мир сможет вместить полноту Божества. Но человек пал; и история человечества – история того седьмого дня, где добро и зло борются и в отдельной человеческой душе и во всем мире. Мир через человека (это слово апостола Павла) порабощен злу, он страждет, он стонет, ожидая явления чад Божиих, времени, когда человек из взбунтовавшейся твари станет чадом Божиим, наподобие Христа Спасителя. И наше призвание – вырваться из плена зла, которое нас держит, стать свободными, то есть стать подлинно, истинно самими собой, какими нас задумал Господь, облечься царственной свободой и во Христе стать детьми Божиими – и на этом пути преображать мир.

Но на этом пути к преображению стоит соблазн. Наша природа потеряла свою цельность, мы раздроблены. Ум, сердце, воля воюют между собой. Воля наша разделена и колеблется в разные направления; сердце наше неустойчиво, ум наш помрачен. И в результате мы легко поддаемся соблазнам, мы легко поддаемся нашептываниям духа зла, духа разделения: он нас отлучил от Бога, раздробил нас внутренне, отделяет нас друг от

друга; он сделал нас чужими по отношению к тому миру, в котором мы живем и который были призваны сделать Царством Божиим. И на нашу долю, на долю каждого из нас выпала задача, которую мы должны выполнить. Мы должны путем напряженного, серьезного подвига освободиться от зла и найти свои корни в добре, то есть в Боге, потому что вне Бога добра в полном смысле слова нет. А для этого, как я раньше говорил, мы должны зорко взглядывать в глубины собственной души, внимательно рассматривать наши поступки и побуждения, вдумываться в наши чувства и мысли, произносить над ними строгий, но творческий суд. И постепенно освобождаясь от всего того, что нас держит в плену, мы должны обрести цельность души, цельность всего нашего существа, единство ума, сердца, воли и плоти нашей, должны путем подвига приобщиться или, вернее, открыться к тому, чтобы в нас обильно действовала благодать Всесвятого Духа.

У нас в храме несколько частиц святых мощей: Стефана Сурожского, Павла Цареградского, Власия Севастийского и теперь, с недавних пор, дар Патриарха Алексия – частица мощей святого Серафима Саровского. В них почиет благодатная Божественная сила, потому что каждый из этих святых, так же как множество других, освятились Духом Святым в духе своем, дали Святому Духу пронизать их душевность и, наконец, излиться в самое вещество их тела. Это духовные частицы. Но они не только духовны: они нам напоминают, какой ценой, каким подвигом человек постепенно вырвался из плена на свободу, если даже плоть его, даже кости его очищены, освящены и пребывают источником спасительной силы Божией.

И вот пред нами, перед каждым из нас, лишь один путь открыт, если только мы хотим быть учениками, ученицами, последователями Спасителя Христа. *Я вам дал пример, последуйте ему*, – вот что Он говорит. *Кто Меня любит, тот заповеди Мои сохранит... Никто большей любви не имеет, как тот, кто жизнь свою готов положить за ближних своих...* Есть две возможности внутри этого единственного пути: это подвижнический путь монахов и подвижников древности и современности и путь вмиру; но оба пути одинаковы в своей основе. Есть третий путь, который многим кажется привлекательным: уйти от всего, уйти как бы от соблазна, уйти от искушения, уйти и забыть о мире. Это не путь Божий. Бог мира не забывал, когда этот мир пал, стал чуждым, хуже, чем чуждым. Апостол Павел нам говорит, что Бог пришел спасать нас, когда мы были Ему врагами, когда мы стали рабами и служителями Его противника и под его наущением начали и продолжали разрушать стройность и красоту

этого мира и осквернять его святость. Уйти некуда. Можно стать изменниками, но нельзя уйти от подвига, называя себя христианином. Многие думают, будто уход в монашество именно в том и заключается, что человек отрекается от мира, от всего мирского и начинает жить, как будто на земле нет ни страдания, ни греха, ни смерти. Это прелесть, это обман, это ложь. Если мы взглянемся в жития святых, мы увидим, что некоторые из них уходили из человеческого общества для того, чтобы вести беспощадную борьбу со злом в себе, сразиться со всеми силами внутреннего, духовного зла. В ранние времена подвижники уходили в пустыни, потому что, когда прекратились гонения, христианский мир, который в дни гонений был так мужественен, так христоподобен, стал таким, каким мы его знаем и какими **мы** являемся: миром, который не живет заповедями Христа, который на отпадшей от Бога земле не живет ради Бога. Они уходили, потому что в таком мире не могли совершать своего подвига беспощадной борьбы с собой. Это и является традицией православного монашества: не искание каких-то мистических озарений, а борьба – беспощадная, суровая, спокойная, непреклонная борьба со всеми силами зла, которые качествуют, которые действуют в собственной душе. И когда человек достигал духовной зрелости, к нему прибивались другие, нуждавшиеся в наставлении в этой борьбе, в подвиге борьбы со злом в душах других людей. Но места для упокоения, места для того, чтобы забыть – **нет** в христианстве.

Мне вспоминается один подвижник, которого встретил на старом Валааме мой духовный отец, отец Афанасий, когда он еще ставил перед собой вопрос, кем ему быть в жизни: мирянином, монахом – кем? Он пришел к этому старику. Тот пятьдесят лет был послушником в монастыре, но так и не принял пострига. На работах он потерял одну ногу, телесно был уже очень разбитым человеком, а духом сиял. Отец Афанасий его спросил: “Почему ты не принимаешь монашества? ты пятьдесят лет монахом живешь”. И тот заплакал и сказал: “Я еще не могу принять монашества, я еще не научился плакать о всем мире”, – плакать о его страшной судьбе не сентиментальными слезами, а так, как Христос заплакал над умершим Лазарем.

В этом мы видим, как между собой связаны судьбы мира и судьба подвижника. Каждый подвижник, который побеждает в себе зло, побеждает его не только в себе, он побеждает его во всем мире, он побеждает его во вселенной. Той доли греха или поползновения к нему, которую подвижник в себе победил, уже нет во вселенной. Человек, который борется с собой, борется не за себя одного, а за весь человеческий

мир и за всю тварь, которая стонет под игом зла в ожидании явления чад Божиих, когда наконец какие-то люди станут детьми Божиими, по образу Единородного Сына Божия, ставшего человеком. А те, которые живут в миру, должны быть так же укоренены в Боге, как и монах; чтобы на земле проводить, исполнять свое призвание, они должны быть так же совершенно во Христе и в Духе Святом. Поэтому разницы в призвании никакой нет. Если мы думаем о монашеских обетах и о том, к чему призван человек в браке, мы можем видеть, что установка одна. Монах дает обет бедности. Это значит, что он не хочет ничем обладать, ни над чем властвовать, ничему быть хозяином, он хочет быть свободным, а не рабом. Вспомните притчу, которую мы не так давно читали в церкви, о призванных на царский брачный пир. Один купил поле и отказался идти на пир, ему надо это поле осмотреть, приготовить. Он думает, что обладает этим полем, на самом деле он этим полем порабощен, он не может от него уйти, не может разделить радость близкого ему человека, он весь погружен в это поле, он больше не видит мира вокруг себя, а видит только ту землю, которую он взял, которой он хочет обладать: она моя... Этим он делается ее рабом, но одновременно отрекается от братства. Эта земля моя, не твоя; ты не имеешь никаких прав на нее. Моя, – уходи!.. То же самое мы видим в человеке, который купил пять пар волов. Он должен идти их испытать, у него есть дело; когда же ему найти время на то, чтобы разделить праздную радость близкого ему человека? Некогда! У него призвание на земле, он должен делать, делать, делать... Когда-нибудь наступит покой, а когда? Когда он наступит, будет поздно. Пир отгремит, брак уже давно завершен, идти будет некуда. Это относится не только к тем, кто покупает пять пар волов, а к каждому из нас, когда мы не находим ни времени, ни вдохновения, ни желания разделить радость или горе другого человека, потому что у нас свое дело.

А третий? У третьего сердце полно своей радостью, какое ему дело до чужой? Ведь понимаете, насколько жутко сказать “чужая радость”, – радость, до которой мне никакого дела нет. Мне все равно, что мой самый близкий человек в горе или ликует... Этот третий человек тоже замкнулся в себе, он в плену, – в плену у самого себя, он может глядеть только на свое отражение, на свою жизнь. Вот где измена! Вот где измена, и вот где вступает в силу понятие бедности. Поле – не мое. Богом мне дано это поле возделывать, чтобы оно принесло богатый плод. Но над этим полем надо работать, как Ветхий Завет меня учит: не так, чтобы это поле, эта земля истощила свои силы, а чтобы она вновь окрепла, ожила и снова могла дарить человеку плод от полноты своей жизненной силы. Так же и с

трудом. Да, трудиться надо, но в момент, когда мы не можем уже взглянуть на небо, отвернуться от своего земного труда, когда нам недосуг вспомнить ни о Боге, ни о дорогих нам людях, мы уже не строим жизнь на земле, мы сами погибаем... И даже в любви: любовь соединяет, из двух она делает одно, но когда это совершилось, это одно существо любви должно повернуться ко всем и ко всему окружающему и из полноты такой любви, которой человек в одиночку вне святости не может явить, должно давать, приобщать.

Это относится и к монаху, и к человеку в браке, и к человеку, который следует за Христом, пока Тот его не приведет туда, куда Он его ведет. *Блаженны нищие духом...* – блаженны те, которые понимают духом своим, что у них нет ничего, что им принадлежало бы по праву и что они могут присвоить. Все, что у них есть, это дар: дар от Бога или дар от людей. Бытие, жизнь, познание Бога, познание себя самих, открытость к другим и понимание других – все это нам дано от Бога. Дано нам и жизнь внешняя, и красота мира, и величие мира, – все нам дано и непосредственно от Бога, и через других людей. В ликовании об этом и есть Царство Божие. Потому что если бы мы могли себе присвоить что-нибудь, оно было бы вне чуда Божественной или человеческой любви. Это было бы мое, как поле, как волы, как мое замкнутое и бесплодное счастье. Да, это Царство Божие, это Царство, где даже пища, по слову отца Александра Шмемана, – не что иное, как Божественная любовь, ставшая пищей... В этом – да, “обязанность” каждого христианина, в каком бы состоянии он ни был, в каком бы чине ни находился: жить лиющей благодарностью, в царственной свободе Царства Божия. Ничто не мое, и одновременно все мне поручено. Я не хозяин, не домовладелец, но мне поручено все принести Богу, чтобы это стало священным даром.

То же самое можно сказать и о целомудрии, и о послушании. Послушание не заключается в том, чтобы исполнять законы, или веления, или даже заповеди; послушание в основе заключается в том, чтобы всеми силами души, всем существом своим, включая тело свое, **вслушиваться** в таинственные пути Божии, вглядываться в них. Послушен тот, который научился слушать и слышать и, услышав – творить. И наконец, монашеское целомудрие находит себе параллель в брачной верности.

Но во всех этих званиях, во всех этих положениях мы призваны к одному и тому же: побеждать зло в себе и через это – вокруг себя во вселенной. Говоря образно, каждый раз, когда убит опасный зверь, он убит не только для того, кто был в прямой от него опасности, он убит для всех, для кого он мог стать таковой. Так же и со злом, с грехом.

Но каково наше положение? Мы находимся сейчас в мире, который полон зла. Кто из нас может сказать, что он не убегает от него, что он не ищет покоя, обеспеченности, защищенности? Разве можно сказать, что каждый христианин себя считает воином, который послан Богом бороться со всеми формами зла – ценой своей жизни, ценой своей чести человеческой перед лицом людей, ценой всего того, что ему по-человечески дорого, – каждый в меру своих сил, но изо всех сил? Вот наше призвание. Но кто из нас, в каком бы чине он ни был, может сказать, что он это выполняет? Разве мы не занимаемся тем, что постоянно обращаемся к Богу за помощью, молим Его о помощи: “Избави, спаси, помоги”? И разве нам Господь не отвечает на это: “А кто же в этой страшной или просто пугающей тебя обстановке сделает Мое дело? Ты ведь знаешь Мои пути, ты знаешь Мою волю, Ты знаешь Мою любовь и сострадание к людям. Почему же ты бежишь, тогда как твое призвание – быть воином?”

Это все звучит очень громко, если мы думаем о всем мире, о государствах, о царствах. Но оглянемся на себя в самой обычной нашей обстановке. Что мы вносим в жизнь нашей семьи, в среду наших друзей, в среду тех, с кем мы встречаемся по службе и по работе? Не делаемся ли мы трусливыми, безмолвными, “с волками воем”? Не находимся ли мы в постоянном состоянии страха и бегства? Не говорим ли мы Богу: “Господи, здесь есть нужда. Ты меня сюда послал для того, чтобы я отозвался на нее, но мне страшно; **Ты**, Господи, сделай то, что нужно, я буду только молиться”. А разве от того, что ты только молишься, кому-нибудь прибавляется хлеба, кровя, одежды? мужества, радости, упования? Ничего не прибавляется. Смеем ли мы говорить, что мы молимся Богу о всех нуждах земли, если и пальцем не прикасаемся к этим нуждам?.. Снова вспоминаются слова Спасителя: *От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься...* Бог нам открыл нужду, и мы Ему отвечаем: “Нет, Господи, Ты Сам эту нужду разреши. Мне неохота, мне некогда, мне страшно, это не мое дело – Твое...” Я помню, как кто-то мне сказал: “Мы живем так, будто говорим Спасителю: Тебе – крест, нам – воскресение...” Разве не так мы живем?

Мне бы хотелось, чтобы теперь те три четверти часа, которые нам будут даны для углубленного молчания, перед лицом нашей совести, мы подумали: не обыватели ли мы на земле? не разрушители ли того, что Бог создал? есть ли в нас какая-то доля мужества и великодушия? или мы просто живем, как обыватели и трусы на земле? Если так, то мы не имеем права говорить, что мы христиане. Приходить в церковь, участвовать в богослужении, молиться заступническими молитвами, воображать, что мы

печальники перед Богом за землю – мы не имеем права, если не прикасаемся хоть пальцем своим к той нужде, которую упоминаем перед Богом. Бог вложил в нас сознание и сострадание, – они должны вырасти в **действие**. И это действие может быть двояко: либо беспощадный подвиг, как мы видим в жизни святых и подвижников, либо творческое действие, которое тоже есть самоотреченный, самозабвенный подвиг. И в том и в другом случае наша укорененность – в Боге, потому что без Него мы не может творить ничего; и то, что мы творим, должно быть **Божие** дело. А это мы можем узнать только через приобщенность Богу, через молитву, через строгое наблюдение за своей совестью, через жизнь, достойную нашего имени христиан, Христовых учеников. Вот о чем я хотел бы, чтобы мы теперь поглубже задумались и не только пережили, но подумали бы: по отношению к кому, по отношению к чему могу я вот теперь, начиная с сегодняшнего дня, выполнять свое христианское задание? по отношению к кому я могу стать христианином? не задаваясь задачами, которые, как мы знаем, мы не можем выполнить, а ставя перед собой вопрос: принимая в учет мое бессилие, принимая в учет то, что я не привык пересиливать себя, что даже силы, которые во **мне есть**, я не умею и боюсь употребить, – принимая все это в учет, что я, однако, **могу** совершить?.. И начать вот **теперь**. И тогда над нами исполниться и другое слово Христово: *Кто в малом был верен, того над большим Я поставлю.*

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ХРИСТОВ

Спаситель в Евангелии нам говорит две вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое : *Я есмь путь и истина и жизнь..* И в этом смысле вся Его жизнь является для нас предназначением не только нашего духовного пути, но, в какой-то мере, и нашего жизненного земного пути. Наш путь, наши взаимные отношения, наш уход в собственную глубину, то, как мы строим мир, который Бог нам поручил, – все это должно основываться на том, что **Христос** является нашим путем: Его жизнь, Его образ, Его слово. И в этом смысле Он есть и путь, и истина, и самая жизнь наша.

И, кроме того, Спаситель сказал: *Я вам даю пример, которому вы должны последовать...* Он дает не только учение, но и пример; не только слова, которые должны нас наставить на то, как мы должны жить, но Он нам показал на Своем опыте, в Своем лице, что Его учение и Его пути – это учение и пути жизни доступные, возможные. Хотя, конечно, какой-то ценой, но они нас делают, по слову Спасителя, сынами, детьми Божиими и открывают для нас область жизни и область истины.

Я хочу поговорить в этой первой беседе о начале крестного пути Господня, а во второй беседе сосредоточиться на Страстях Господних, на том, что происходит, начиная с Вербного воскресенья и дальше, до Пасхи, до Воскресения Спасителя.

Когда мы говорим о крестном пути, мы, большей частью, думаем о том периоде жизни Спасителя, который начинается с Его выходом на проповедь, или чаще – о том периоде, который мы называем Страстной седмицей. Но мне кажется, что надо рассматривать, видеть это крестный путь Господень гораздо шире. Апостол Петр говорит, что Христос –*Агнец, закланенный прежде создания мира...* Еще до того, как Господь державным Своим словом создал мир, Он в Своей премудрости, в Своем извечном знании судеб знал, что случится с этим миром. Он знал, что мир, который Он создает для вечной славы, трагически потеряет свой путь, отпадет от Него и что спасение этого мира будет обусловлено, осуществлено приходом на землю, воплощением Сына Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому тайна Креста как бы вписана в самую тайну Святой Троицы. Когда священник начинает всенощную, он, держа кадило в руке, начертывает им крест и произносит слова: *Слава Святей, Единосущней и Животворящей и Нераздельней Троице;* и эти слова, и это движение его руки вписывают крест в самую тайну Святой Троицы. Святая Троица – это

тайна Божественной любви; и эта Божественная любовь является одновременно и торжеством, и ликованием, и крестным состраданием со всей тварью. Центр этой тайны Святой Троицы по отношению к нам – распятая любовь.

Протопоп Аввакум в начале своего “Жития”, размышляя над сотворением мира, представляет себе, как это совершилось, и говорит о том, как Предвечный Совет происходил. Отец сказал Сыну: “Создадим мир!” и Сын ответил: “Да, Отче!”. “Но этот мир, – говорит Отец, – отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, Тебе придется стать человеком и умереть”. “Да будет так!”- говорит Сын. И Господь создал мир.

Это, конечно, образные слова, но они выражают ту тайну любви Божией, которая не только ликует о создании, не только радуется о красоте, которую Он вписал в Свою тварь, не только дает нам свободу и жизнь и призывает нас быть детьми света и Своего Царства; эти слова открывают нам Бога, Который идет любовью до самого предела, то есть до смерти, и за предел смерти.

Вот где начинается наше созерцание, наше изумление и, может быть, наш ужас перед нашим же существованием и перед тайной нашего сотворения: Бог, который все знал наперед, нас создал, зная, что мы будем искуплены только крестом и смертью Единородного Его Сына. И в ответ на это мы можем отозваться только благоговением, благодарностью, любовью и готовностью все силы – пусть они будут малые, но все без остатка – приложить к тому, чтобы Божия крестная любовь не осталась без ответа, чтобы крестная смерть Спасителя Христа не была нами как бы забыта или отвергнута. Вся жизнь наша, перед лицом этой тайны Агнца Божия, распятого за спасение мира, должна стать и быть одной сплошной благодарностью. А благодарность Богу можно выразить, только следуя тем путем, который ведет нас ко спасению, тем путем, который жизнью и смертью Своей проложил Господь Иисус Христос.

Это первый образ: Агнец Божий, закланенный до создания мира. Этот образ Агнца, ягненка, проходит красной нитью через весь Ветхий Завет; на протяжении всего Ветхого Завета Бог ставит нас перед лицом того, что невиновный страдает и погибает, потому что есть виновные, чистый погибает, потому что есть нечистота, праведник гибнет, потому что есть неправедность, и Всесвятой Бог должен умереть в плоти человека, потому что есть грех на земле. Это – закон жизни, который определяется, с одной стороны, неисчерпаемой любовью Божией, и с другой стороны – нашей греховностью. С одной стороны, Бог отдает все, с другой стороны, мы,

большой частью, все отвергаем или забываем.

И вот распятие Христово, эта смерть Невинного должна нам напомнить о том, что этот страшный закон зависит от нас, и не только по отношению ко Христу, но по отношению друг к другу. По отношению к каждому человеку, к судьбе всей земли человеческий грех, человеческая злоба, неправда, жестокость всегда врезаются в плоть и в душу невинного. Вот первое, о чем нам говорит образ Агнца Божия, закланного до создания мира.

Второе – это само Воплощение. Сын Божий, Которым создан мир, есть творческое Слово и, одновременно, Тот, Кто должен Своей жизнью и смертью искупить этот мир. Он его создал, зная, что будет, и Он вступает в это мир на смерть. Каждый из нас призывается Богом из небытия во временную, преходящую жизнь, чтобы через нее вырасти в жизнь вечную. Сын Божий из вечности, из области, где нет смерти, нет ограничений, нет страдания, нет греха, нет неправды, вступает доброй Своей волей в мир греха, неправды, ограниченности и смерти для нашего спасения. Мы через временную жизнь врастаем в вечную. Он из вечности как бы вступает во время и в земные условия, чтобы умереть.

И когда мы вглядываемся в тайну рождественской ночи, мы видим образ того, что есть любовь; видим ее образно, картино, видим ее в Младенце, лежащем в яслях, Которого Бог и Отец нам отдал, чтобы мы, люди, поступили с Ним, как захотим... Любовь беззащитна, любовь отдает себя до конца, любовь до конца уязвима; и в лице Спасителя, родившегося в Вифлееме, мы видим, что представляет собой и Божественная любовь, и всякая любовь: отдача себя без защиты, готовность на все без сопротивления.

И этому можно научиться, потому что здесь уже область наша, земная. Какова наша любовь? Можем ли мы говорить о любви к самым близким, или к более дальним, или к Богу в таких категориях? Разве мы отдаем себя своему ближнему, даже и самому дорогому, без всякой мысли о том, чтобы сохранить свою “цельность”, защитить себя от ран, от боли, от унижения, от разочарования, от измены, от обмана, от всего, что может нас ранить? Неужели наша любовь такая открытая, такая отданная, такая беззащитная, что готова на все, только бы не перестать, не измениться, не поколебаться? Вот о чем нам говорит Воплощение: о любви и о том, какова она. И если такова Божия любовь к нам и если Христос говорит нам: *Я вам дал пример, последуйте ему*, – то этот образ мы должны воспринять ответственно.

Дальше мы видим в жизни Спасителя, как Его приносят в храм. Божия

Матерь и названный Его отец, Иосиф, приносят Его в храм поставить перед Богом. Что это значит? Что обозначает этот обряд, о чем говорит этот праздник? Если вспомнить Ветхий Завет, то мы увидим, что Богу пришлось подвергнуть египтян одному ужасу за другим, чтобы освободить Израиль из египетского рабства; и предельным ужасом была смерть каждого первенца в Египте. И как бы выкуп за этот ужас Господь дал повеление Моисею: Он потребовал, чтобы каждый первенец мужеского пола, рожденный от израильской матери, приносился к Нему в храм в жертву; то есть отдавался бы Ему на жизнь и на смерть, отдавался так, чтобы Бог мог решить: берет Он его и принимает Он его как кровавую жертву или отпускает за выкуп. Этим выкупом для более богатых людей был ягненок, а для бедных – два голубя.

Через всю историю Израиля проходит образ: для нашего спасения погибли дети египетские, и в выкуп за них мы приносим наших сыновей – перворожденных, самых дорогих. И Господь в Своей милости не требует от нас смерти этих детей, Он их отпускает с миром жить, но жить они должны уже как собственные Божии дети. В какой-то день в храм приносится особенный ребенок, небывалый ребенок: это Божий Сын, рожденный от Девы Иисус Христос. И Божий Сын, рожденный от Девы, Который через Свою Мать принадлежит к израильскому народу, а по Своему Отцу принадлежит вечности Божественной, этот Ребенок Богом принимается; только на время Бог приемлет в выкуп голубей, на то время, пока не совершил Его собственный Сын все, что Ему положено совершить – дело безграничной любви. А закончит Он Свою жизнь как кровавая жертва; единственный из первенцев за всю историю израильского народа Он умрет, потому что был принесен в храм как выкуп за Израиль, а также и за младенцев египетских, показывая этим, что Его смерть является спасением не только избранного народа, но всего человечества без остатка. Он умирает за всех и приносится Он за всех.

Здесь, так же как и в Воплощении, как бы одностороннее действие Божие: **Бог** отдает Своего Сына, **Бог** совершает воплощение и **Бог**, во Христе, отдает Себя. Младенец этот пока еще не берет Сам на Себя, в Своей поистине царственной человеческой свободе, той задачи, которую Бог на Него возлагает; здесь Он является агнцем, голубем невинным, приносимой жертвой.

И следующий шаг мы видим в день крещения Господня. Господь Иисус Христос вырос в полную меру Своего человеческого роста, Своей зрелости человеческой; и в этот момент Он, как человек *Иисус Христос*, по словам апостола Павла (Рим. 5, 15), берет на Себя все, что возложил на

Него Бог в воплощении и в тайне Сретения, все, что Он принял на Себя в Извечном Совете по Своему Божеству. Он приходит на Иордан. И значительны, знаменательны слова, которые провозглашает Иоанн Креститель: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя весь грех мира, Который на Свои плечи берет мир с его грехом, со всеми последствиями этого греха”... И Христос требует крещения. Иоанн справедливо говорит: “Зачем? Как мне, человеку грешному, крестить Тебя, Бога воплощенного?” Зачем Ему креститься? Крещение Иоанново было крещением покаяния за грехи, но нет греха во Христе. Что же происходит? Происходит, может быть, то, что описывается в одной проповеди на Крещение Господне: воды иорданские омыли грехи десятков, сотен, может быть, тысяч людей, которые с покаянием пришли к Иоанну; эти воды отяжелели человеческим грехом. Они омыли греховность и из простых, земных вод стали как бы мертвой водой, где грех человеческий убил всякую возможность жизни; они стали водами способными, омыв грех, возложить его на Безгрешного, приобщить Его не к греху, а к смерти, которую за собой приносит грех. И Христос погружается в эти воды. Он, безгрешный, бессмертный, погружается в эти воды смерти и восстает из них, как бы облеченный в смертность погибшего человечества, в смертность, которая является следствием греха. Воды смерти ... Но эти воды, к которым прикоснулось Его Божественное тело, теперь несут в себе не смерть, а жизнь. Эти воды иорданские приобрели как бы новое значение; и когда мы освящаем воду в крещенский праздник, или при крещении детей, или при любом случае, мы просим, чтобы им было дано приобщиться тайне Иордана. Простые воды прикоснулись к телу воплощенного Бога, и очистились, освятились, это уже не простые воды, а воды, носящие в себе жизнь, способные приобщить других к той жизни, которая ключом была во Христе.

И выходит из этих страшных вод иорданских Христос как бы облеченный в смерть. Проповедь, которую я упомянул, сравнивает эту тайну с погружением белой материи в краску красильщика. Погружается незапятнанная белизна, а выносится материя кровавого или черного цвета: кровь или смерть. Из древности, из греческой мифологии мы знаем образ, который уже говорил об этом. Это рассказ о Геркулесе, человеке небывалой силы, который творил только добро вокруг себя, уничтожал зло, и в этой борьбе со злом насмерть ранил кентавра. Кентавр, в котором зло было ключом, погрузил в свою кровь одежду и послал ее Геркулесу в подарок. И когда Геркулес надел эту хламиду, она прилипла к его плоти, стала жечь его, и он начал рвать ее с себя, но сорвать ее он мог только ценой собственной смерти. Так и Христос может освободиться от

смертности, от последствий нашего греха, которые Он воспринял в крещении, только Своей смертью.

Вот путь Христов; но этот путь говорит нам и о нас самих, ибо это **наш** грех; грех всего человечества, но и каждого из нас, потому что грех земли сплетается из мелких и из крупных грехов каждого человека. Наш грех, мой, твой, ее, его грех ложится на Христа, как эта смертоносная хламида, как эта смертность, которая собирается со всего Иордана, чтобы осталась в нем только спасительная чистота. Как мы отзовемся на это? Бог отдал Своего Сына на смерть, невинного, беззащитного; и этот Сын человеческой и Божественной любви свободной волей на Себя принимает все, что Бог на Него возложил. Как мы отзовемся на **такую** любовь, на Божественную любовь и на человеческую любовь Христа? Как бы мы отзывались, если бы кто-либо из наших близких, друзей или кто-то нам совершенно чужой свободно, без принуждения отдал свою жизнь для того, чтобы вырвать нас из смерти? Апостол Павел дивится этому и говорит: Едва ли кто отдаст жизнь за своего друга, а Христос отдал свою жизнь за нас, когда мы были Ему врагами, когда мы служили, поклонялись греху, когда мы любили грех больше правды, больше Него... Как мы отзовемся на это? Неужели у нас не хватит ни сердца, ни воображения, чтобы понять, что это значит? Неужели, если бы кто-нибудь из нас принял смерть за другого, это было бы более убедительно, чем то, что мы знаем о Христе? Неужели человек, который бросается в огонь для того, чтобы спасти другого человека, и погибает, поступает более убедительно, чем Христос? Нельзя отговариваться тем, что Христос был Богом; Он живет и умирает в Своем человечестве, а не в Божестве. Так же как каждый из нас может отдать свою жизнь или отказать в ней ближнему, Он был свободен как человек сказать: “Возложенное на меня Отцом Я не могу принять в плоти Моей человеческой!” Он все знал, Он знал, что будет, – и Он это принял.

Вот над чем нам надо крепко-крепко задуматься, когда мы живем так, как мы живем, а не так, как Господь Своей жизнью и смертью нас молит жить.

Когда мне за многие последние годы приходилось говорить о страстях Господних, я старался сосредоточивать внимание на Самом Спасителе Христе. Сегодня я хочу говорить больше о тех людях, которые принимали участие в этом последнем, крестном пути Господнем, начиная с Вербного воскресенья.

Когда мы думаем об участниках этой страшной, страдной поры, мы всегда думаем о “них”, как бы говоря: “Был я тут, этого бы я не сделал. Я бы все понимал, я бы на все отзывался, ничего бы не испугался, если

только я тогда знал бы Христа". Но на самом деле это не так. Если посмотреть на себя честно, то можно себя узнать в каждом из участников этой страшной поры; и не в лице Христа, Божией Матери или тех, которые остались верными хотя бы ненадолго, но в лице тех, которые оставили Его.

И вот сейчас я хочу начать с Вербного воскресенья. Вербное воскресенье – праздник. Мы видим теперь, через две тысячи лет, как Спаситель входит в Иерусалим, как Он окружен приветственными возгласами, криками толпы. Где-то слышится голос и тех, которые хотят заставить эту толпу замолчать, которые Христа не приемлют. Но в основе мы видим вход Господень в Иерусалим как торжество, как момент, когда Он царственно, с миром въезжает в Сион, в Иерусалим, в град. Это, однако, только самая яркая сторона; что же в это время происходило? В это время толпа встречала Христа, ожидая, что Он восстановит Царство Израильское, что Он станет во главе восстания против римлян, обеспечит общественную и политическую свободу, и восстановится то, что когда-то было: независимость. А на самом деле Христос въезжал в град Иерусалимский, как пророки сказали, не на коне, словно победитель, а на осле, указывая этим, что Он приходит с миром, а не с войной, не как грозный царь, а как кроткий Спаситель. И в этом торжестве народа, в этих криках, в этом шуме только Христос знал, что все в Нем ошибаются, включая даже учеников; все думают о земном, не о небесном, и придет момент, когда разочарованные в Нем обратятся против Него с гневом, с яростью, со всей неблагодарностью своей, потому что Он обманул **их** надежду... Вход Господень в Иерусалим пронизан этой двойственностью. В этом смысле это страшный праздник, потому что в середине этого праздника Спаситель Христос – **один**, совершенно один; приветствуют не Его, приветствуют воображаемого политического вождя. И Он знает, что пройдет немного дней, как вся эта толпа будет кричать: "Распни, распни Его! Он нас обманул, Он обманул мою надежду, Он солгал против моей надежды". Вот одиночество Христа среди этой толпы.

Но где же **мы** в этой толпе? Неужели мы воображаем, что мы единственные понимаем Его пути, что мы всей душой с Ним!? Если бы это было так, то уже давным-давно в наших душах, в наших семьях, в нашей общественной жизни, в наших государствах мы создали бы Царство, которое не от мира сего, – Христово Царство. Наши отношения со Христом, наше отношение ко Христу такое же запятнанное, замаранное, как тогда; Он один. А вместе с этим, у нас Евангелие, у нас опыт двадцати столетий, мы **знаем** то, чего не знали ни евреи, ни язычники того времени о Христе, но все равно как будто не понимаем.

И нам надо опомниться; надо задуматься очень глубоко, очень крепко над тем, что происходит в этом торжестве; не запутаться, а стать в это момент со Христом и далее идти со Христом.

Дальше разверзается Страстная; нарастающее разочарование тех, которые во Христе хотели видеть того, кем Он не был, и возрастающий с разочарованием гнев: Он их обманул, последняя их надежда разбита, и нарастает желание отомстить Тому, Кто столько сделал и, однако, обманул основную надежду. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедовал новую жизнь – это было хорошо; Он как бы готовил людей к тому, что все это Он сделает достоянием Своего народа. Но Он этого не сделал, – распни, распни Его!

Тайная вечеря. Ученики собрались вокруг Спасителя; Он ведет с ними долгую беседу. В Евангелии от Иоанна речь идет только от лица Христа; но можно себе представить, что были паузы, периоды молчания, размышления, вопрос или высказывался, или зарождался в чьем-то уме и сердце, и на него Христос, всеведущий, любящий, отвечал. И вот в этой группе людей происходит ряд событий.

Христос встает и хочет умыть ноги Своим ученикам. Он среди них, как слуга среди своих господ... У них недоумение; а Петр говорит: *Нет! Не умоешь моих ног!..* И Христос ему отвечает: *Если Я твои ноги не умою, то у тебя не будет части со Мной...* С каким смиренiem нам надо принимать Божии услуги. Мы ведь постоянно молимся Богу: “Господи, помоги! Господи, сотвори! Господи – дай!” Разве это не то же самое, что сказать: “Господи, умой мои ноги!” Мы считаем это молитвенным дерзновение, верой; но отдаем ли мы себе отчет в том, что, молясь таким образом, мы часто как бы требуем от Христа, чтобы Он стал слугой, – слугой наших реальных нужд или мимолетных желаний: “встань из-за стола, сними верхнюю одежду, препоясайся полотенцем, налей воды в таз, умой мои ноги, – я устал, мне что-то нужно, я чего-то хочу”. Можно задуматься над этим.

Среди учеников и Иуда; ему тоже умывает Господь ноги; Он без разбора умывает ноги ученикам; Он все об Иуде знает, но Он и к нему относится, как слуга к своему господину, потому что Он пришел **и его спасать**, если только Иуда даст, позволит спасти себя.

И тут, когда Христос говорит о том, что придет волк и рассеет овец, что все Его скоро оставят, Петр бахвальствует: “*Если и все Тебя оставят, я не оставлю Тебя!*” И что? Через несколько часов он не только заснет во время страшной Гефсиманской ночи, но позже отречется от Христа, чтобы спасти себя от возможной опасности, со страху. Другие ученики тоже

чувствуют, что они за Христа и на плаху пойдут, – но все Его оставят... Легко нам дивиться этому, но не то же ли самое мы делаем постоянно: нам стыдно называться Христовыми, нам стыдно сказать, что мы православные, нам стыдно поступать наперекор течению, нам боязно. Только в храме, только когда мы между собой, мы вдруг делаемся смелыми – но не перед лицом даже мнимой опасности, даже насмешки, даже пожимания плечами...

Иуда уходит, остаются другие ученики; но не легче Христу: Он знает, что сейчас один из Его учеников Его продает, что из-за этого ученика на Него сейчас медленно, но неумолимо надвигается смерть. Но, может быть, еще более тяжело у Него на душе **за** ученика-предателя... И продолжается эта вечеря, этот пасхальный пир, который для евреев в древнее время был пиром в память освобождения, а здесь делается как бы предсмертной тризной, которая расцветет в Церкви в Божественную литургию, Евхаристическую встречу, победу.

И ученики уходят вместе со Христом в Гефсиманский сад. Ночь, холод; троих – Петра, Иакова и Иоанна – Спаситель берет с Собой, чтобы они были при Нем, хоть на расстоянии броска камня. Древняя Церковь говорит о Петре, как о примере веры, об Иакове – как образе праведности, об Иоанне – как образе любви. И вот собирались вокруг Него человеческая вера, и праведность, и любовь; и Христос уходит и стоит перед лицом смерти, крестной смерти. А ученикам холодно, настала ночь, ранние, такие утомительные часы ночи; и тоска их гложет, и от тоски все трое засыпают. А в это время Христос стоит перед лицом Своей смерти, которая есть не что иное, как смертность всего человечества, которую в день Крещения Он, как человек, на Себя принял и которую, как Агнец, закланенный до создания мира, Он воспринял на Себя. Смерть Ему чужда во всем; как Бог, Он бессмертен; как воплощенный Бог, Он самое тело воплощения сделал бессмертным, и смерть Его – наша смерть, которая Его убивает. Это всечеловеческое убийство. И перед эти ужасом смерти Он молится: “Господи, чтобы прошла эта чаша!”. Содрогается плоть, душа Человека, может быть, более страшно, чем душа всякого человека и плоть всякого человека перед смертью.

И Он встает и идет к Своим ученикам в надежде, что встретит человеческий взор, что коснется Его человеческая рука, что хотя Он на каком-то расстоянии от них, но Он не один, – а они спят. Их тоска оказалась сильнее сострадания, любви, всего, что их связывало со Христом. Они спят, Христос снова отброшен в совершенное одиночество. Он снова молится. На этот раз Он сделал шаг к победе; в первый раз Он

говорил: “Да мимо идет чаша сия”, теперь Он говорит: “Если Мне надо ее пить – пусть будет так”. И на этом Он истощил все Свои человеческие силы. И Он идет за помощью. А ученики спят, у них **нет** для Него ни взора, ни слова, ни прикосновения руки – ничего нет. Его снова отталкивают в одиночество. И третий раз Он молится: “Да будет воля Твоя!”. И тогда все совершено. Он возвращается к ученикам, и теперь Он их может разбудить, теперь все на Нем – никто не помог.

Из этого мы можем многому научиться. Бывают моменты, когда и нам кажется, что мы если и не перед лицом смерти, то перед лицом какого-то решающего события, решающего поворота жизни, и **так** бы хотелось услышать хоть одно слово, чтобы хоть кто-нибудь взглянул, кто-нибудь прикоснулся к руке, но мы чувствуем, что мы одни и надо все сделать без помощи. И еще – что мы не можем этого сделать враз никакими силами, но мы можем бороться; Гефсиманское борение – для нас пример того, что с нами может быть. Если мы не можем сказать: “Да будет воля Твоя”, – мы можем сказать: “Господи, Господи, пронеси эту чашу мимо меня, если только можно”; эти слова “если только можно” – предел нашей веры, предел нашей готовности принять волю Божию, даже если она такая страшная, такая страшная ...

Второй раз мы можем приступить к борьбе; если первые слова – “если только можно” – были правдивыми в нашем сердце, то мы сможем сказать дальше; “Если надо – да, пусть будет; но только если надо! Сказать: “Да будет” – у меня нет сил”. Но, если эти слова – “если только надо” – правдивы, у нас найдутся напоследок силы сказать: “Да будет воля Твоя”, какова бы она ни была; если даже она обозначает, что самое страшное должно случиться... Но когда мы выходим из этой борьбы, или в промежутках между нашими такими отчаянными воплями – молитвенными или просто криками души, – как мы относимся к тем людям, от которых мы ожидали всю возможную помощь и которые заняты другим, каждый своим? Один спит душой, то есть неспособен даже услышать наш голос; он занят своими мыслями, своими заботами. А другого сердце заснуло, и то, что мы говорим, до него не доходит: “Да, да, о да, я понимаю ...” – ничего не понимает и ничего знать не хочет... У каждого своя тоска, своя усталость, своя озабоченность, – разве есть время на твою?.. И вот Христос не похож на нас в этом; нам горько делается, гневно делается: где же дружба, где же любовь, где товарищество? А Христос ничего подобного им не говорит; Он смотрит, и Ему жалко их. Перед лицом самого великого события мира они ничего не чувствуют, не знают, что вообще что-то происходит; они ушли в себя, в сон, заснули... И

так всю жизнь, дремлют и видят сны, и мимо них проходит реальность, да какая реальность: их грядущая смерть, смерть близких, самого дорогого – смерть Христа. Христос даже не будит их; Ему их жалко: “Спите! Почивайте!” – говорит Господь. Не горьким голосом, как часто это читается вслух, а жалостливо: “Спите, дети! Почивайте, у вас не хватает сил для того, чтобы вместе со Мной один час понести Мою тоску предсмертную...”

А когда все уже совершено, Он им говорит: *Теперь вставайте; тот, кто Меня предает, уже приближается.* И вот предатель приходит с толпой, целует Его. Этот поцелуй мы воспринимаем иначе, вероятно, чем он был воспринят тогда. В то время, когда вы хотели обличить человека в преступлении, вы должны были возложить свои руки ему на голову и провозгласить свое обличение. Но если ваше обличение оказалось ложным, вы сами подвергались тому наказанию, которому подвергся бы тот человек, будь ваше показание верным. Иуда не захотел подвергнуться этому риску; он не возложил свои руки на голову Христа, обличая Его в том, что Он богохульник, нарушает закон; он Его поцеловал, чтобы дать знак людям; ему страшно было того, что может случиться, если он ошибся во Христе. Поцелуем он предает Христа. И это он делает, обеспечивая себе безопасность, безнаказанность. И как Христос на это отзыается? Как называет его Спаситель, как обращается Он к нему? – “Друг!” Он ему не говорит: “Отойди, предатель! Ты три года со Мной жизнь делил, ты все видел, что Я сделал, ты был свидетелем всех Моих чудес, ты слышал Мое животворное учение, ты сам дрогнул душой, – а теперь, поцелуем ли меня предаешь?” Он ему сказал “Друг”, Он от него не отвернулся, Он его не отверг. Он принял на Себя и предательство. И этим Он все победил. Победить ненависть других, победить оставленность, победить трусость друзей трудно, но можно. Но посмотреть в глаза человеку, который вас предает, и сказать: “Ты мне остаешься другом, я тебя люблю, как всегда, всей жизнью, всей смертью”, – это подлинная, последняя победа... И тогда все разбежались. Это уже был не сон; реальность ворвалась в дрему, и эта реальность была такая страшная: Тот, Кого они считали непобедимым, по-видимому, побежден, – остается только спасать свою жизнь. И Петр, который хвалился: “Если и другие Тебя оставят, я Тебя не оставлю”, тоже убежал; и все убежали, в сторону хотя бы, – кто дальше, в дом Марка, а кто на какое-то расстояние.

Как мы умеем отнестись к вражде, которая вдруг нас побеждает, и к предательству? Вот вопрос, который ставится нам этим отрывком евангельским. Когда мы окружены враждой, ненавистью, желанием нас

размыть и разрушить, каково наше отношение? В нас поднимается гнев, ответная ненависть; не так во Христе! И когда мы видим, что мы преданы – с каким негодованием, ненавистью, презрением мы глядим на предателя, как мы стараемся его унизить, оскорбить! Не так поступает Христос, а значит, не так должны и мы поступать. Пока мы в себе не победили самую способность ненавидеть врага, того, кто нам опасен, кто может разбить нашу жизнь, пока мы не победили наше отношение к предателю, мы еще не Христовы до конца; сколько-то Христовы, но не до конца.

И дальше ведут Христа к Каifa. За Ним издали идут два ученика; их пускают во двор, почему? Не потому, что они Христовы ученики, которые пришли свидетельствовать в Его пользу, а потому, что Иоанн – друг дома, того дома, где сейчас будут бить Христа по лицу, оплевывать, будут на Него клеветать, в котором Его засудят благодаря лжесвидетелям и против самого закона еврейского, вопреки всему, всякой правде. Иоанн, как друг этого дома, входит во двор, и благодаря ему пускают в этот двор и Петра. И тут трижды Петр отрекается от Спасителя. Когда одна из служанок, прислушиваясь к его говору, говорит: “А ты тоже из Галилеи, значит, ты тоже из Его учеников”, Петр отрекается: *Не знаю я Этого Человека!* Неужели такое с нами не случалось в той или другой мере? Неужели нам не случалось как бы скрыться в толпе и не стать рядом с человеком, которого унижают, оскорбляют? Я не говорю о страшных событиях, а о самой обычной человеческой клевете, о самой плоской, подлой сплетне: “Я? Нет, не знаю; да, мы знакомы, но он мне не друг! Мы знакомы – и все”. Петр, вышедши со двора, встретил взгляд Христа и заплакал. Если бы нам было дано в моменты такой подлой трусости обернуться и посмотреть в глаза человеку, от которого мы отреклись, может быть, мы бы тоже заплакали? Но мы закрываем глаза, отворачиваемся – только бы не встретить этого взора! Поэтому и покаяние в нас не рождается ...

Но не только ученики – действующие лица этих событий; еще и народ, первосвященники, Пилат, Ирод царь, римские воины... Народ – тот самый, который приветствовал Его в день входа в Иерусалим: *Осанна! Красуйся! Благословен грядый во имя Господне Царь Израилев!* Он их обманул, только смерть может отомстить за их разочарование: *Распни!* Первосвященники, фарисеи видят в Нем и врага своей веры, и политическую опасность: из-за Него римляне могут поработить всю страну; не только ее оккупировать, но всецело присвоить. Этому нельзя дать случиться, лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть!.. Так и мы рассуждаем часто: лучше, чтоб одному человеку был позор, чтобы он все потерял, лишь бы только другие были безопасны...

Ирод и Пилат: у них была власть спасти Христа; один был циником, ему все равно было, жив или нет невинный человек; а другой боялся за свою карьеру, за свою судьбу: стоит ли потерять все, что таким трудом нажито, для того, чтобы спасти какого-то человека? “Если ты отпустишь Иисуса, Который Себя называет Царем Израиля, ты не друг Кесаря!” – о нет! На это он не пойдет!.. Но и с нами бывает подобное, и с нами бывает, что мы боимся потерять то, что наше, ради спасения другого человека...

И еще: Христа берут в претор; грубые воины, привыкшие к страданию других людей, привыкшие также и к своему страданию; они хотят позабавиться: закрывают глаза Спасителя, завязывают Ему глаза, ударяют в лицо, спрашивают: “Кто Тебя ударил?”. Не так ли бывает с нами? Когда мы хотим сделать что-то недостойное, разве, образно говоря, мы не стараемся завязать глаза Христу? Вернее, в нашем случае, мы закрываем свои глаза, чтобы не видеть, что Христос тут, что Христос все видит, все слышит и что каждым подлым, лживым, недостойным словом или поступком мы даем пощечину Ему, ударяем Его в лицо, насмехаемся над Ним, готовя Его к худшему – к распятию; потому что может так случиться, что Он нам слишком уж будет мешать, и тогда мы Его сбудем, распнем. Не телесно, не физически, но внутри себя ...

А затем – шествие с крестом и дивное, поистине дивное, событие: одному человеку дано понести вместе с Ним крест; телесно, физически, понести деревянный крест – но чем-то помочь Христу. Крест – это тяжесть, крест – это орудие смерти, которое человек на себе несет. В нашем случае крест складывается из противоречий нашей воли Божией воле; наперекор кладется перекладина нашей воли. И вот случается нам или нет, когда человек раздавлен этим противоречием, подставить свое плечо? Поддержать главную перекладину воли Божией, чтобы человеку легче было волю Божию понести на плечах?

И плачут по дороге женщины иерусалимские; и Христос на Своем пути к смерти останавливается и жалеет их... А дальше – распятие. Воины пригвождают Его ко кресту; им все равно, кто умирает, их дело – пробить руки и ноги преступнику и поставить крест. А дальше – скучное ожидание: неужели так долго умирать Ему?.. Играют, разговаривают... Это очень трагично; но разве не бывает так же, жутко, ужасно, когда в одной комнате, в той же квартире умирает человек, а родные, друзья сидят в кухне или другой комнате, пьют чай, разговаривают, шутят, – нельзя же все время быть такими напряженными. А человек умирает в одиночестве. Или кто-нибудь там сидит, да, – но другие в это время дают себе немножко подышать, дают отдых какой-то: нельзя же с человеком все

время умирать! Умирать – его дело, а мы минутами поддержим; а пока – ну, силы собрать; мы же живы!.. Разве это не так?

И вот крест стоит; направо, налево – два разбойника. Один, видя, что и Праведного убивают, отрицает человеческий суд, человеческое право судить даже и разбойника; другой, видя, что и Праведник погибает от человеческой неправды, принимает свою смерть как должное: если Праведник страдает, то, конечно, беззаконник должен пострадать... Один из покоя вырывается даже в последнюю минуту, другой находит путь во внутренний и вечный покой... Как мы относимся сами к этому? Как мы относимся к тому, что с нами бывает порой мучительное, горькое, страшное? Не говорим ли мы Богу, что это несправедливо, что этого не должно бы быть? Понимаем ли мы, что если это с Ним было, то нам нечего говорить о себе?..

В середине этого ужаса – одна точка безмолвия: Христос и два человека – Божия Матерь и Иоанн. Божия Матерь, Которая Его родила, Которая Его принесла в храм в день Сретения в жертву и Которая теперь видит, что Бог эту жертву принял и что Христос умирает в выкуп за Израиль и за Египет, то есть и за все язычество, за праведность и неправедность, за все, за всех. И Иоанн, любовь которого сильнее страха, крепче веры, не нуждается в надежде, который – просто любовь, соединяющая егосо Христом неразрывно.

А вокруг пестрая толпа: враги, которые радуются и смеются на Ним, и та толпа, которая там собралась. Одни мечтают о том, чтобы Христос сошел со креста, и тогда они смогут Ему поверить, тогда они будут знать, что Его учение действительно победит, что можно безопасно быть Христовыми. А другие мечтают, чтобы Христос не сошел со креста, потому что если Он не сойдет, то можно успокоиться; встревоженная Его учением, Его словом душа может спокойно вернуться к земле, приземлиться; Его страшное благовестие о любви без границ, о любви, подобной Божией любви, нереально, и земля победила небо; земля крепкая, солидная, а небо хрупкое – сплошная мечта, как облака. И все ждут смерти Христовой.

Где мы стоим в этой толпе? В той толпе, которая встречает Христа при входе Его в Иерусалим, в той толпе, которая за Ним движется в Гефсиманский сад, во двор архиереев, во дворец Ирода, в судилище Пилата и, наконец, на Голгофу, – где мы, кто мы? Вот вопрос, который мы должны себе ставить в течение всего Великого Поста: где я, кто я? Вот передо мной разверзаются величественные, спасительные Божии дела – где же я? Относятся ли они ко мне, или я остаюсь чуждым тому, что

происходит?

ВЕРА БОЖИЯ В ЧЕЛОВЕКА

Наше сегодняшнее говение проходит по знаком преддверия Рождества Христова, и мне хотелось бы подумать с вами вместе над тем, что представляет собой Рождество для нас, людей, и поговорить не о богословии самого Рождества, а о том, как оно отражается в нашей жизни.

Мне кажется, что Рождество Христово нам говорит, во-первых, о вере Божией в человека; во-вторых, о нашей ответственности по отношению к этой вере и к тому, что она означает для Бога и для нас; и наконец, о той надежде, которую Рождество Христово, воплощение Сына Божия, должно вызывать в нас: надежду не пустую, не безответственную, а вдумчиво-серьезную, которая требует от нас ответа всей жизнью, всем нашим существованием.

Тема о вере Бога в человека не так часто является темой разговора, размышлений, а вместе с тем это такая потрясающая тема! Бог вызвал нас всех, все человечество, из небытия. Каждого из нас Он из того же небытия вызывает к существованию; без Его воли не рождается никто, и поэтому с первого момента нашего существования между Богом и нами очень глубокая связь. Он нас позвал – мы встали перед Ним; Он произнес слово, которое оказалось силой, приведшей нас к бытию. И, может быть, стоит задуматься над тем, что в книге Откровения нам сказано, как в конце времен, после Второго пришествия Господня каждый из нас получит имя, которое знают только Бог и тот, кто это имя получает. Не означает ли это имя, неизвестное больше никому, что каждый из нас для Бога – единственный, неповторимый и что отношение с Богом каждого из нас абсолютно неповторимо, ни с чем не сравнимо; что человечество является как бы все нарастающей, громадной и дивной мозаикой, где каждый из нас представляет собой один камушек, – но камушек, на котором держится вся мозаика? Вынь один из них – начинает расшатываться все здание, все мироздание... И каждого из нас Бог творит, вызывает к бытию по невыразимой и, по-человечески говоря, непонятной любви к нам. Непонятной, потому что Он знает, каковы мы; мы и сами знаем, как мы неотзыччивы на любовь – и на человеческую, и еще больше на Божественную. И Бог каждого из нас вызывает к бытию для того, чтобы мы вступили в таинство взаимной с Ним любви. Он является для всего мироздания Женихом, и каждая человеческая душа является как бы невестой. И Он свободно вызывает к бытию каждого из нас, как бы веря в то, что мы не обманем Его ожиданий.

Можно бы себе поставить вопрос о том, каков плод этой веры. Первая чета изменила своему призванию, изменила Богу, изменила мирозданию, предав всю тварь во власть сатаны. Как после этого можно верить в потомков Адама и Евы? Как можно верить в это человечество, которое дало не только Авеля, но и Каина и которое на протяжении всей истории искажало и продолжает искалять – жадностью, ненавистью, страхом, всеми возможными грехами – тот мир, который Господь вызвал к бытию? Как возможно, что Бог нас создал, поверив, что Его творческий акт будет не напрасен, что в конечном итоге мы, может быть, и оправдаем его? Я говорю “может быть”, потому что это зависит от нас, а не только от Бога. Бог вызывает нас к бытию, Бог нам дает свободу, без которой нет любви, Бог открывается нам, по мере того как мы оказываемся способными Его воспринять, открывается нам со всей Своей глубиной. А открыться – это значит стать уязвимым, открыться доверчиво другому существу значит отдаваться в его власть. И, действительно, когда Бог нам предлагает Свою любовь, а мы -может быть, не словами, но всей жизнью – от этой любви отрекаемся, разве мы не готовим распятие Господа, не соучастствуем в нем?

В предисловии к рассказу о своем житии протопоп Аввакум так представляет сотворение мира (я цитирую не дословно, но точно передаю мысль). И сказал Отец: Сыне, сотворим человека ... И Сын ответил: Сотворим его, Отче ... И Отец сказал: Но он падет, и Тебе придется стать человеком и умереть ради его спасения ... И Сын ответил: Да будет так, Отче!.. И Бог сотворил человека. В Своем предведении, в Своей предвечной мудрости Бог знал все, что будет, но и перед этим не остановилась Его любовь, но и этим не было сокрушена Его вера в нас, потому что Он никого и ничего не создавал для погибели. Об этом нам следовало бы думать иногда более глубоко, чем мы думаем. Призывая нас к бытию, Бог изъявил Свою веру в человека. И каждый из нас может задуматься над тем, что это значит для него лично, по отношению к самому себе, и что это значит по отношению к тому, как люди друг на друга смотрят, каковы наши взаимные отношения.

И тут начинается тема ответственности. Ответственность мы всегда представляем себе как момент, когда мы будем стоять перед судом – либо своей совести, либо гражданским судом, либо Божиим. Но ответственность начинается в тот момент, когда мы на какое-то предложение – отвечаем. Бог нам говорит: “Я поверил в тебя, и поэтому Я вызвал тебя из небытия. Я Свою веру вложил в тебя, и поэтому ты создан...” Как мы на это отвечаем? Ответы бывают очень разные. В разные моменты жизни того же самого человека ответ неодинаков. Бывают

трагические моменты, когда человек скажет: “А разве я Тебя просил, Господи, меня создавать для той страшной, жестокой, мрачной жизни, которая выпала мне на долю?..” Бывают моменты уныния, когда человек говорит: “Господи, зачем Ты меня создавал?! Мне обещали радость, но стоит ли радость, которая мне дана или давалась, того, чтобы год за годом, десятилетие за десятилетием жить, нести тяжесть жизни, которая меня подавляет? Если бы только можно было забыться, заснуть, уйти в небытие!..” Бывают моменты, когда мы из глубокой радости отвечаем Богу: “Спасибо за жизнь!” Но значит ли это, что мы отзовались на веру Божию и на зов Еgo любви?

Мы читали в прошлое воскресенье притчу Христову о званных и избранных. Все они благодарили внутренне Бога, судьбу за свое существование. Один купил клочок земли, теперь он “богат”, теперь земля ему принадлежит, он хозяин, он может по ней ходить и радоваться, он с ней может сделать, что только захочет, она в его власти. И кроме того, она ему родная. Он же вызван Богом в бытие и создан из праха земного, – она ему мать, она родная ему. Как не радоваться на этот союз, в котором он является хозяином? Когда-то он из нее рождался, теперь он ею владеет, над ней властвует. “Спасибо, Господи, что Ты мне дал власть над этой землей!” Другой купил пять пар волов; теперь он может работать, обрабатывать эту землю. В эту землю будет врезаться его плуг, в эту землю он будет кидать семя по своему выбору, не Божьему, он заставит эту землю приносить плод, которого он хочет. Он будет бросать в нее удобрение, то есть в каком-то смысле осквернять ее. Он будет чувствовать в себе торжество силы, он может за это поблагодарить Бога: “Да, Ты мне дал власть. Эти пять пар волов – мои, я с ними могу делать, что захочу, они мне подвластны...” А другой женился, его душа полна радости, ему никакой другой радости не нужно. И когда Бог его в свою очередь зовет на Свой брачный пир, он отвечает: “Твой брачный пир мне не нужен, у меня свой!”

Вот ответы, которые так часто мы даем Богу, вот где начинается ответность или ответственность наша. Бог в меня поверил, Бог мне, как Жених, предложил Свою любовь, а я Ему отвечаю: “Твои дары – да, принимаю, а Ты – повремени. Когда истощится все земное, тогда я, может, успею обернуться к небесному и прийти к Тебе”. Как может Бог верить в такого человека? Как может Бог по вере нас создать, верой нас одарить и жизнь Свою дать для того, чтобы этот неверный человек опомнился?... Тут тоже на что-то отвечать надо, не в порядке ответственности перед законом, а в порядке внутреннего ответа. Бог стал человеком. Посмотри в

эти ясли: там лежит беспомощный Ребенок, Младенец, Который зависит всецело от того, что над Ним совершат, что Ему сделают. Бог во всем Своем могуществе, во всей Своей славе предлежит перед нами в образе бессильного, хрупкого, от нас до конца зависящего Ребенка, – уязвимого, Который над Собой не имеет власти.

А что над Ним будет сделано – мы знаем. Божией Матерью Он принят; Она стала святынищем храма. *Святое святых* и Она теперь стали одно и то же. Она является местом пребывания Всесвятого Бога, пришедшего плотью, – плотью, которая вся пронизана Божеством. Иосиф в смущении, в колебании боролся с самим собой, до момента, когда ангел ему открыл тайну воплощения. Мудрецы шли, шли за звездой, которая их вела, как говорит церковная песнь, к *Солнцу правды*, к Божественному сиянию. И в Нем они каким-то непостижимым для нас образом узнали человека, обреченного на смерть, Бога, пришедшего плотью, и Царя, Который лежит беззащитный в яслях, отвергнутый всеми в той деревне, где Пречистая Дева и Иосиф искали себе пристанище. Пастухи с чистым сердцем пришли по свидетельству ангелов и поклонились Ему; но уже в ту ночь началось Его отвержение. Как ответило человечество, как ответил каждый человек на Его воплощение? Пречистая Дева стучалась в каждую дверь, ища пристанища, где родить Своего Сына, и каждая дверь захлопывалась перед Ее лицом: мы здесь своей семьей собраны, чужие нам не нужны! Нам здесь тепло, нам здесь хорошо, мы друг с другом близки; уходите, чужаки!... И в это же время Ирод, боясь, что родился в эту ночь ему соперник в царстве земном, готовил смерть Того, о Котором он знал, что Он – Царь Израилев. Воины готовились: четырнадцать тысяч детей было избито в вифлеемской области в поисках Единственного, Кого хотели убить и Кого Бог уберег от человеческой неверности, злобы. Первыми мучениками были чистые младенцы, ничем сами не провинившиеся, убитые за Христа. Вот два ответа, которые земля сразу с первого же мгновения дала любви Божией. Как же может Бог верить в нас?..

И Он верит. Он не перестал творить, Он не перестал вызывать к бытию новых и новых людей. Но за тот ответ, который мы Богу даем, разве не будем мы ответственны и по-иному, в обычном смысле этого слова? Когда мы станем перед Ним уже не оторвавшись, а оторванные смертью от всего того, что нас порабощает земле – как мы станем перед Ним и какой ответ дадим? Когда мы увидим Христа воскресшего, сидящего одесную Бога и Отца, но носящего на Своей плоти язвы креста, гвоздиные язвы, раны от венца, следы ношения креста?.. Когда мы увидим Его и поймем,

что, если бы никого другого не было на земле, может быть, я сам (или сама) был бы причиной Его смерти, как несомненно каждый из нас, потерявший единство с Богом, даже не ищущий Его всеми силами, всем сердцем, всем умом, всей волей, всей жизнью – как каждый из нас ответственен за Его воплощение? Без нашего греха не нужно было бы Ему воплотиться для крестной смерти. Когда кто-то бывает убит, желая спасти нас, разве мы можем это забыть? Нет! Но когда Бог делается человеком, когда Он бывает распинаем, умирает, когда душой Своей человеческой Он сходит в ад, в то место, где нет Бога, в место последнего отчуждения – мы проходим мимо Него.

Вы, наверное, помните рассказ о том, как на пути в Иерусалим Христос начал говорить Своим ученикам о грядущем Своем распятии: *Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий будет предан в руки человек грешных, и оплюют Его, и убьют Его, но в третий день Он воскреснет...* Из всего этого ученики услышали Его слова о том, что Он воскреснет; и двое из них стали просить, чтобы, когда Он вернется во славе Своей, когда Он придет судить всех, им было дано сесть одесную и ошуюю, то есть по правую и левую руку от Него... Ничего они не услышали о том, какой ценой Он купит это искупление человечества и мира; они только слышали о том, что может выпасть на их долю ценой Его креста: Тебе крест, нам слава...

Но разве только они так говорят, разве мы не говорим так же? Но тогда, что же делать с верой Божией? Вера Божия нам не может быть понятна. Глядя на самих себя, глядя на историю мира, мы не можем понять, как может Бог верить в человека.

Но, с другой стороны, эта вера Божия нас обязывает. Если Он в нас верит, если Он такой ценой готов верить в нас, то мы должны вырасти в меру Его веры в нас. Мы должны стать достойными этой веры. Здесь уже не отрицательная, а положительная наша ответственность.

Но как же мы можем в себя верить? Что во мне есть такого, во что я могу верить?.. Все Евангелие нам говорит о том, что человек создан по образу и по подобию Божию. Все Священное Писание, весь опыт святых нам говорят о том, что в каждом из нас отпечаток Божьего образа. Вы, наверное, помните рассказ о том, как к Спасителю Христу приступили соблазнители с вопросом: справедливо ли платить подать кесарю? И Он им ответил: Покажите Мне монетку; чей здесь образ, чье это имя? – Кесарево. – Отдавайте же кесарю то, что ему принадлежит, а Богу – то, что принадлежит Ему. А что принадлежит Богу? – каждый из нас, потому что каждый из нас запечатлен этим образом Божественным. Как сказал один

русский священник во Франции, отец Евграff Ковалевский: когда Бог взирает на любого из нас, Он может не видеть наших добродетелей, которых нет, но Он видит отражение Своего Образа, который ничто не может разрушить... Каждый из нас является освященной иконой – раненой, обезображенной, но каждый остается **и святыней, и образом Божиим**. И задача нашей жизни – вглядеться во все то, что в этой иконе уцелело, и эту икону обновить, как бы реставрировать.

Если Бог так в нас мог поверить, то мы должны верить в себя, но не в свои человеческие силы, не в свои способности. Мы не должны быть ослепленными теми кажущимися нам драгоценными качествами, которые у нас есть, качествами ума, воли, творчества; мы должны быть внимательны к тому *сокровенному сердцу человека*, который является тайной нашей. Святой Ефрем Сирин говорит, что, когда Бог творит человека, Он вкладывает в глубины его все Царство Божие, и задача жизни в том, чтобы копать глубже, пока не найдешь это сокровище. Мы обязаны верить в себя, потому что Бог в нас верит. Мы обязаны искать в себе то, что Божие, – не только то, что Ему принадлежит; все Ему принадлежит по праву, – но искать в себе все то, что нас делает родными Ему, сродняет с Ним, уподобляет нас Ему, делает нас на Него похожими. А для этого мы должны научиться вчитываться в Священное Писание Евангельское, искать, что в этом Писании вызывает в нас трепет, восторг, радость, на что мы отзываемся, говоря: Боже, как это прекрасно! Как это истинно! Как это светло!.. Потому что, когда мы так можем отзываться на то или другое евангельское сказание, это значит, что Бог и мы – в гармонии, что мы душевно одно, что тут мы коснулись нашего подобия с Ним, и Он нам подобен. Мы коснулись Его человечества и узнали в Нем себя, но – в чистоте, во славе, в красоте, в истине. И когда мы это находим, мы не смеем больше поступать иначе как в послушании этому откровению. И только тогда мы можем понять слова Спасителя о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя, именнокак **самого себя**. Мы должны любить самого себя; но не того эмпирического человека, которым мы являемся: самолюбивого, глупого, тщеславного и т. д., а любить того человека, который заложен в глубины наши как возможность и как призвание. Мы должны искать в себе этого человека, мы должны найти в себе этого человека, его беречь, как Божия Матерь берегла Спасителя, когда Он лежал в яслях, как Она Его хранила, когда Он был Младенцем, как Она Его защищала, когда Он был Ребенком. Вот как мы должны отнестись к тому, что мы представляем. Этого человека мы должны любить, и любить жертвенno, потому что мы знаем из Евангелия, что ни у

кого нет большей любви, как у того, кто жизнь свою готов отдать за любимого. “Жизнь отдать” значит быть готовым пожертвовать всем для того, чтобы тот жил, кого мы любим. Не совпадает ли это с тем, что мы исповедуем при крещении, когда мы вслушиваемся в слова апостола Павла к римлянам о том, что мы умираем с Христом для того, чтобы воскреснуть с Ним, что в нас должно умереть, то есть превратиться в прах всё, что мешает нам стать образом Божиим во славе, во всей красоте, к которой мы призваны. Поэтому вера в человека нас обязывает, она не дает нам права жить небрежно под тем предлогом, что Бог в нас верит, так же как не имеем мы права жить безответственно по отношению к человеку, который нам доверяет, нас любит, который в нас верит. Но если Бог может верить в нас, то мы имеем не только право, – мы **обязаны** верить в себя и верить друг во друга, потому что то, что относится к одному человеку, к каждому из нас, относится одновременно и ко всем нам в целости и в отдельности. На этом должно строиться человеческое общество, которое называется Церковью, являющееся зачатком человечества в целом, каким оно должно стать.

* *

К уже сказанному я хочу прибавить третье, о чем я упоминал: это вопрос о надежде. Глядя на себя, какой я есть – и это может сказать каждый из нас – на что можно надеяться? Мы постоянно делаем попытки к исправлению, мы постоянно стараемся быть успешными в том или другом и постоянно возвращаемся к прошлому. Если мы задумаемся над собственными нашими исповедями: сколько раз мы приходим, исповедуем одни и те же грехи, уходим с чувством облегчения, что мы хоть высказали себя, выразили свой стыд или свое горе, уходим с намерением что-то совершить и через самое короткое время возвращаемся на исповедь с теми же грехами. Почему это так происходит? Когда мы читаем жития святых, мы не видим, чтобы они ходили на исповедь раз за разом. Мы видим, что человек, который прожил каким-то образом недостойно собственного человечества, не говоря уже о Боге, вдруг видит себя, какой он есть, видит себя с ужасом, потому что осознает, что, какой он есть, он не имеет права себя даже человеком называть, а когда он станет перед Богом – что сможет он сказать в свое оправдание? Признаться в том, что он даже не был человеком, мало... И вот, человек, который себя увидел с такой яркостью, с такой силой, может перемениться, потому что человек, себя так увидевший, себя увидел в смертной опасности, увидел, что в нем не жизнь, а смерть качествует, действует, что он физически еще не труп – но что он уже мертвец... Из житий мы видим многих святых, которые в какой-то

день под чьим-нибудь влиянием, либо вглядываясь в образ другого человека, либо по каким-нибудь обстоятельствам, вдруг себя увидели и, увидев это, поняли, что таким быть нельзя, невозможно быть и оставаться таким.

Если мы эти мысли перенесем на то, что я говорил раньше, то вдруг вместо отчаяния может загореться надежда, – надежда, которая основана не на том, что мы воображаем, будто мы можем сделать усилие, перемениться, и все будет хорошо; мы знаем на опыте, сколько раз мы хотели, мечтали – и ничего не осуществили. Надежда может загореться совершенно неблекнущая, надежда, которой ничто не может уничтожить: потому что Бог нас знает, какими мы являемся, какие мы есть, и вместе с этим Он не только нас любит, – Он в нас верит. Любить можно даже без надежды. Сколько матерей любят своих детей развратных, наркоманов, убийц: в этом говорит их материнское сердце, но это человека не всегда облагораживает или меняет. Для того чтобы человека переменить, надо ему доказать каким-то образом, что в него продолжают верить. И вот то, что я говорил раньше, к этому относится: Бог в нас верит, и мы имеем данные быть убежденными в этом, верить в Божию веру в нас. Я уже говорил, что Бог не мог бы нас сотворить, не веря в нас, Он не мог бы нам дать все то, что Он нам дал – и тело, и ум, и сердце, и волю, и обстоятельства нашей жизни, и прошлое, и будущее – без веры в нас. Но сверх того мы знаем: Он нас сотворил, **зная**, что с нами случится, сотворил Он нас, зная к тому же, что с Ним случится в результате этого “безумного” творческого акта и “безумного” дара свободы человеку. Я говорю “безумного” – это не кощунство. Апостол Павел говорит о безумии креста, о его тайне сверх всякого разумения; это поступок, который никак не укладывается в разумные расчеты, какие мы ведем. И потому что в нас верит Бог и какие-то люди вокруг нас вместе с Богом в нас верят, мы можем **надеяться**. Мы можем начать жить их верой в нас, и мы можем надеяться, что в конечном итоге вера Божия и вера людей, которые нас любят, оправдается. Как, в какой мере, каким образом в конечном итоге – мы этого сказать не можем. Потому что мы понимаем, что дело не в том, чтобы нам простились наши грехи, дело в том, чтобы мы **стали** другими людьми, новой тварью, о которой говорит Новый Завет. И потому что в нас верит Бог, потому что какие-то люди, наученные Богом, кому Бог дал зрячие глаза, в нас верят, мы можем надеяться и верить в себя.

Надежда – это не легковерие, надежда не заключается в том, что против всякой очевидности мы думаем, что “образуется”, что “сойдет”. Надежда – другого качества. Я говорил о том, как можно, как необходимо

нам вглядываться в себя самих в свете Евангелия, читая Евангелие без предвзятости, но с совершенной честностью, вернее, с той долей добросовестности и честности, которая нам доступна. Я говорил уже несколько раз об этом, и все-таки повторю. Вы помните рассказ, притчу Христову о сеятеле, который сеял свои семена. И одни семена упали на дорогу, другие упали в придорожные сорные травы, третья упали на каменную почву, последние упали на добрую почву. Никто из нас не является той или другой почвой. В разные моменты мы являемся той или другой почвой. То мы, как камень, непроницаемы, ни один плуг не прорежет этого камня, этой окаменелости. Иногда мы в себе ничего не видим, кроме сорной травы, и другие могут не видеть. Иногда мы, как дорога, которая отчасти может принять семя, но без глубины, оно затоптано будет. А иногда мы бываем такой богатой почвой: слово живое падает нам в душу – и вдруг загорается что-то в нас, мы делаемся живыми, из изваяния мы делаемся плотью и кровью. И поэтому нам надо не только в те минуты, когда мы чувствуем в себе самих чуткость, восприимчивость, но в любые минуты жизни вглядываться в евангельское зеркало, вчитываться в Евангелие, вслушиваться в слова Христа, вглядываться в Его действия, слушать слова других, следить за их реакциями и за тем, как поступает Христос. Порой мы ничего не будем чувствовать, порой мы загоримся на мгновение, а потом это огонь потухнет. А порой то, что мы видели или слышали, западет в нашу душу так, что никакими силами этого будет не вырвать.

Подумайте о том, что было, когда Христос проповедовал на Святой земле. Толпы Его окружали. Один человек подходил и ставил вопрос, – вопрос, который в нем созрел, вопрос, который был для него насущный, который требовал ответа, вопрос, без ответа на который он жить не мог. И Христос обращался к этому единственному человеку и отвечал на его вопрос, потому что это был вопрос жизни или смерти. В толпе были такие люди, которые как бы в потемках узнавали это вопрос, потому что он в них уже где-то зарождался, но еще не созрел, был словно зародыш в материнской матке. Они прислушивались и узнавали как бы издали звучность вопроса, узнавали важность ответа и хранили и вопрос и ответ в своей памяти сердечной, ожидая момента, когда вдруг и вопрос и ответ расцветут, и вопрос уже будет иметь окончательное значение. А бывали такие (вероятно, большинство), которые пожимали плечами и отходили: зачем нам слушать?.. И мы такие постоянно бываем. Мы бываем и первым, и вторым, и третьим человеком, и поэтому опять-таки для нас так важно вслушиваться, вглядываться в Евангелие. В одни моменты Евангелие будет

силой жизни. Куда нам от Тебя уйти, Господи? У тебя слова жизни вечной... Не речь, в которой Христос описывал вечность, а такие слова, от которых все вечное вдруг приходит к жизни, все вечное делается жизнью данного мгновения. Это путь, это простая возможность, которая нам дана. Евангелие в наших руках, читать его – в нашей власти, вслушиваться мы все можем – было бы желание.

Правда, не всегда желания достаточно. Надо найти для этого защищенное время, читать и слушать с чувством надежды, – надежды на то, что если в нас верит Бог и что в нас даже какие-то люди могут верить, то, значит, есть и для нас путь. Христос не только нас зовет к жизни, Он нам сказал сам о Себе: *Я путь, Я истина, Я жизнь...* Значит, мы можем на все надеяться; на все – но не пассивно. Надо искать в себе самих этот образ Божий, надо расчищать путь Богу. Помните слова Иоанна Крестителя: *сделайте прямыми стези его...* – это от нас зависит. Когда мы хотим читать Евангелие, мы должны закрыть все свои чувства, чтобы ничего в нас не проникало, чтобы ничего не рассеивало нашего внимания. Мы должны открыться только Евангелию. И это возможно. Когда мы читаем книгу, которая нас увлекает, мы перестаем слышать, что вокруг нас делается, видеть, что делается; когда нас занимает какая-то мысль, мы делаемся тем, что люди называют “рассеянными”: мы не слышим их, не замечаем их. Вот так нам надо научиться и Евангелие читать. Но мы это можем делать, только потому что в нас есть надежда; и надежда, как апостол Павел говорит, нас не посрамляет и не посрамит никогда, потому что она основана на совершенно незыблемом камне: на вере Божией в нас. Но и люди играют свою роль, потому что мы не всегда можем воспринять то, что я говорил о Божией вере в нас, с живостью, но мы можем постоянно воспринимать веру людей в нас, напоминание людьми о том, что мы имеем право в себя верить, потому что в нас верит Бог и потому что они в нас верят. Ко мне приходят много людей, и большей частью проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. Он не видит никакой ценности в себе, он не видит смысла в себе. И если только удается ему передать то, что я, полуслепой, невосприимчивый, тупой, недуховный, могу, несмотря на все это, видеть в нем образ Божий, что я могу веровать в него, то это может играть решающую роль. И эту роль мы можем играть по отношению друг ко другу, каждый для каждого. Иногда это принимает очень простую форму, когда человеку говоришь: Ты себя не видишь, а вот я вижу в тебе. Я вижу ум, я вижу сердце, я вижу столько других свойств... А когда человек возражает: Но я их не вижу! – мы можем ответить, как святой Тихон

Задонский писал одному священнику: когда тебя люди хвалят, не отрекайся, потому что к тем добродетелям, которых у тебя еще нет, они прибавят и смиление, которого совсем в тебе нет; но старайся стать таким, каким они тебя видят; ведь они так говорят, потому что они в тебе прозрели то, что потаенно в тебе есть... Конечно, речь не идет о тех людях, которые лицемеры, обманывают людей, представляются перед ними, а о тех людях, которые – да, несовершенные, но в ком есть зачаточно совершенство и богоподобная красота.

И надо тоже помнить, что это совместимо со всеми формами жизни. Люди часто читают писания святых отцов, особенно аскетов, пустынников, и стараются внутренне воспринять то, что они говорят, и потом видят, что не могут внешне жить так, чтобы внутреннее соответствовало внешним обстоятельствам. Как жить полнотой духовной жизни при ограниченности возможностей эту жизнь осуществить, сделать конкретной, реальной? Я думаю, что тут мы делаем большую ошибку. Мы стараемся перенести из одной обстановки в другую правила жизни, стараемся перенести форму, не поняв содержания. Если читать отцов, то мы можем видеть, как они жили, что они думали, каковы были их чувства. И мы можем научиться тем чувствам, которые жили в них, которые пронизывали их ум, определяли их жизнь, и поставить перед собой вопрос: да, в очень малой, может быть, но в какой-то мере и я Бога люблю, Бога знаю, хочу Богу следовать. Что я могу сделать под этим руководством? Как я могу перевести на язык современности и на язык моей частной жизни, обстоятельств, в которых я живу, те абсолютные правила, которые мне представлены словом или примером?

И тут надо научиться здоровому, реалистичному смирению. Я помню, как я впервые пришел на исповедь к отцу Афанасию, исповедовался как можно более честно; и так как он был монах строгой, подвижнической жизни, я ожидал, что он мне скажет: "Вот что от тебя требует Евангелие, вот абсолютные правила, иди и исполняй!" Я был глубоко разочарован, когда он мне сказал: "Вот что надо было бы сделать; а теперь постой и подумай: из этого что ты **можешь** сделать? На что у тебя хватит мужества, времени, возможностей, доброй воли? Определи то, что ты действительно с легкостью можешь осуществить, и когда ты научишься осуществлять легкое, тогда будем говорить о более трудном..." Мы потому часто не умудряемся сделать должное, что вместо того, чтобы начать с победы над малым, хотим взяться за великое. А Евангелие нам ясно говорит: *кто был верен в малом, тот будет и над большим поставлен...*

Таким образом, в основе всего нам надо воспринять Божию веру в нас,

нам надо друг другу показывать, проявлять нашу взаимную веру друг во друга, надо из этого научиться верить в себя и надеяться на все. Но верить в себя разумно, верить в себя с радостью, верить в себя творчески. Эта вера, которая начинается с момента, когда мы говорим: этому и поверить невозможно, но по Твоему слову я это воспринимаю... Глядя на себя, я убежден, что в меня верить нельзя; но раз Ты в меня веришь, я с благодарностью Твою веру воспринимаю... Из этого рождается надежда, которая, как я уже сказал, не бывает посрамляема. А из этого когда-нибудь может родиться любовь к Богу, любовь к ближнему, который в нас поверил, и может разгореться здоровая, настоящая любовь к самому себе: способность возлюбить в себе богоданную красоту, возлюбить в себе тот образ Божий, который так прекрасен – и который нами самими и другими людьми и обстоятельствами бывает так изуродован.

Но тут надо вспомнить – опять-таки, я это говорил столько раз! – что своими силами этого сделать нельзя. Нельзя своими силами стать живым образом Христа, нельзя вместить в себе Святого Духа и стать *купиной неопалимой*, нельзя своими силами стать дочерью или сыном Божиим через нашу приобщенность ко Христу силой Святого Духа. Об этом так ярко говорит апостол Павел. Когда перед лицом тех задач, которые перед ним лежали: обращение всего мира ко Христу – он, видя, что своими силами ничего не может сделать, просил у Бога сил, Христос ему ответил: *сила Моя в немощи совершается...* В какой немощи? Конечно, не в косности, конечно, не в трусости, конечно, не в лени, не в забывчивости, не в слабости во всех ее видах, а в другой немощи. Картин этой немощи можно столько придумать! Немощь ребенка, который так доверяет матери, отцу, что он не защищается перед их лаской, что он отдается их объятиям, что он готов быть направляем ими. И ребенок растет, и в какой-то момент забывает о дивном чувстве полного доверия и отдачи себя, и начинает действовать самостоятельно. Вы, наверное, видели, как ребенка учат писать. Ему дают в руки карандаш, требуют от него, чтобы он держал этот карандаш каким-то странным образом, тремя пальцами, тогда как ему естественнее было бы держать его, как кинжал. И он отдается этому; и затем мать начинает водить его рукой. И ребенок, не зная, что от него ожидается, не мешает, и прямые линии выходят прямыми, и круги и все линии так совершенны. И вдруг ребенок думает, что понял, и начинает помогать, и все превращается в путаницу... Нам надо научиться вот этой немощи, которая не предваряет действия Божии, которая дает руке Божией вести нашу руку.

Есть и другой образ. Парус – самая хрупкая часть корабля, а вместе с

тем поверни это парус так, чтобы в него дышал ветер, – и это хрупкий парус может понести корабль через море. Так и мы, если только делаемся гибкими.

И поэтому апостол Павел так ликовал о той немощи, которая в нем действовала, о том, что действительно он немощен. Он знал, что он ничего не может, но стань он прозрачным, стань он гибким – все возможно; и он воскликнул: как дивно, что *все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе...* Поэтому надежда наша еще вот в чем: дай только волю Богу, позволь Ему действовать, будь Ему сотрудником – и **все** Его обещания исполняются в тебе.

Сейчас мы идем к дню Рождества Христова. Все это содержится в чуде Его рождества. Лежит перед нами Младенец, Который до конца Себя отдает, Который является Творцом мира и вместе с этим – хрупким Ребенком, беззащитным, как любовь. Да, Рождество Христово говорит нам о любви Божией, по которой Он нас зовет, но и о вере Божией: Он знает, что не напрасно Он нас сотворил, не напрасно Он жил, учил и умер на кресте. Как ответственно должны мы отзваться на такую любовь и на такую веру!.. Я хотел бы сказать: больше даже на веру, чем на любовь, потому что мы не знаем, что такое любовь, а вера бросается в глаза, до ужаса она поражает. И поэтому мы можем надеяться не только на Бога, – мы можем надеяться на все, лишь бы дать Ему свободу и простор действовать в нас и через нас.

Но как мы важны, как мы значительны друг для друга! Ведь мы можем пережить эту тайну веры только через другого человека. Надо очень созреть духовно, чтобы воспринимать веру Божию непосредственно; но так просто с ликующим изумлением увидеть, что в нас верит наш ближний; что он не ждет, чтобы мы стали совершенны, что он не ждет, чтобы образ Божий сиял из нас, что он верит в потаенное, в невидимое, с большей силой, чем верит своим глазам. Это опыт, который в разных обстоятельствах можно иметь, в частности, конечно, в отношениях каждого из нас с каждым из окружающих. Но и в другой области: в общении с преступниками, когда кажется, что ничего в этом человеке нет, кроме зла – и вдруг обнаруживаешь, что за порой очень толстой, окаменелой корой бьется живое сердце. Только скажи ему о вере – не о вере в Бога, а о вере в человека, он сможет дрогнуть, он **может** ожить.

ВОПРОШАНИЕ И СОМНЕНИЕ

Все верующие в наше время – и те, которые родились в православии или в какой-либо иной вере, и те, которые обрели веру после какого-то периода неверия, активного или пассивного безбожия, – все находятся перед вопросом и ко всем обращаются с вопросами, сама жизнь обращается ко всем с вопросами. И поэтому первая тема, о которой я хотел бы сказать и над которой мне хотелось бы подумать вместе с вами, это тема о вопрошании: о законности вопрошания, о том, чего требует добросовестное вопрошение, и вопрос о сомнении. А это нас должно подвести к вопросу о вере, о ее существе и о том, как можно жить по вере.

В спокойные периоды истории вопрошение занимает относительно малое место. Большинство верующих верует самотеком, как их учили дома, как их учили в школе. То, как вся обстановка их обучает или поддерживает их веру, является достаточным основанием для веры. В наше время этого недостаточно. Те из нас, у кого есть крепкая, сознательная вера, постоянно встречаются с вопрошанием других людей, и, как апостол Петр говорит, мы должны быть в состоянии каждому дать ответ. Дать ответ с любовью, с благоговением, дать ответ во спасение, но такой ответ, который был бы убедителен. А ответ никогда не бывает убедительным, если все его составные части взяты из цитат либо из Священного Писания, либо из какого-нибудь другого источника, – из святых отцов, из наставлений духовных писателей. Убедителен тот ответ, который человек может дать изнутри собственного опыта. Пусть этот опыт будет зачаточный, пусть он будет несовершенный, но он должен быть личный. Отвечать на чужой вопрос: “Так говорят другие”, не стоит. И без нас люди знают, что другие “как-то так” говорят.

Поэтому вопрошение, когда его нет в нас самих, до нас доходит, – доходит криком, мольбой других людей. С другой стороны, у всякого верующего порой или внезапно, очень резко, мучительно или постепенно зарождаются какие-то вопросы, и эти вопросы могут превратиться в сомнения. Разница между вопросом и сомнением заключается в том, что вопрос открыт. Человек, который чего-либо не знал, который не задумывался над чем-либо, ставит этот вопрос перед собой. Жизнь ставит этот вопрос, обстоятельства его ставят, или он вырастет из глубин души.

Сомнение имеет другое свойство. Сомнение заключается в том, что нечто, до того казавшееся нам достоверным, несомненным, простым, вдруг перестает быть простым, перестает быть несомненным, ставится под

вопрос. Но тогда, как в первом случае, в случае простого вопрошания речь идет о неизвестном и поэтому не ставит нас самих под вопрос, то когда рождается сомнение, оно **нас** ставит под вопрос, и ставит под вопрос также и то, во что мы верили. И нам надо научитьсяправляться и с вопросом и с сомнением.

Первое, на чем я хочу настоять, это то, что каждый раз, когда в нас рождается какой-либо вопрос, связанный с нашим мировоззрением, связанный с нашей верой, с нашим представлением о Боге, о человеке, о себе, мы должны радоваться и благодарить за это Бога. Это значит, что мы переросли какую-то предыдущую стадию нашего развития, когда вопроса не существовало, потому что мы еще не доросли до него, а теперь он перед нами стоит ясно, ярко и нам дает возможность вырасти в новую меру внутреннего нашего развития. Сомнение, как я только что сказал, другого свойства. Сомнение – это момент, когда ставится под вопрос то, во что я верил раньше, то, что мне казалось несомненным, простым. И очень часто верующие пугаются сомнения. Почему? Потому что им кажется, будто при сомнении в чем-либо, относящемся к Богу, к мировоззрению, к человеку, к жизни, ставится под вопрос самая жизнь, самая вера в человека, самая вера в Бога, колеблется наша уверенность в том, что мы стоим как бы на камне, что под нами не шатается земля. И вот тут мы должны научиться с умом, со смелостью и со смирением относиться к вопросам, которые нам ставит наше внутреннее сомнение. Слово *сомнение* значит, в сущности, что в нас раньше было одно мнение, одно представление о вещах, а теперь выросло второе, которое сопоставляется с первым, и тот простой ответ, который у нас был в душе, двоится.

Я хочу перед вами провести очень простую, несложную параллель. Когда ученый, занимающийся физикой, химией или какой-либо наукой, собрал сколько мог разрозненных фактов (это может относиться также к истории и к философии), он старается законно их собрать в одно целое, то есть их собрать так, чтобы они не были разрознены, а представляли нечто цельное. Если ученый добросовестный, то, собрав факты, которые ему известны, в определенную модель, в стройное взаимное соотношение, первым делом он поставит вопрос: не сделал ли я какой-нибудь логической ошибки? Действительно ли мое построение соответствует совокупности фактов?.. Второй вопрос: не пожертвовал ли я какими-нибудь данными ради того, чтобы цельность всей структуры не была разрушена?.. Третье действие добросовестного ученого будет заключаться в том, чтобы сказать: да, все собранные мною факты гармонично включены в эту структуру, в эту модель. Теперь для того чтобы наука шла

вперед, мне надо искать таких фактов, которые еще не уложились в ту картину, которую я создал. То есть искать таких фактов, которые как бы взорвут созданную мною модель, взорвут структуру, которую я создал, потому что только тогда она может раскрыться, расшириться, и мое мировоззрение, мое представление о вещах достигнет большей ценности и большей полноты... Если же ученый этого не делает, он сохраняет определенную модель, которая рано или поздно устареет.

То же самое могли бы говорить и мы, если были бы достаточно честны, смелы, вдумчивы, о наших сомнениях, относящихся к вере. И когда я говорю о вере, я говорю о всем, что касается Бога, сотворенного Им мира, человека, взаимных отношений, внутренней и внешней жизни, всего. Потому что большей частью когда человек рождается в вере, то есть когда он просто рождается в христианской семье, которая его обучает вере, раньше чем он еще успеет создать или поднять какие-нибудь вопросы, то он остается в течение очень долгого времени, иногда порой в течение всей жизни, в состоянии умственного детства. Его представления о Боге, о жизни, о человеке, о творении никогда не перерастают тех представлений, которые были ему навязаны или предложены в детстве. Но он растет в других отношениях, он встречается со школой, с университетом, он встречается просто с людьми инакомыслящими, у которых есть вопросы, не обусловленные их детским воспитанием, – и вот тогда начинается внутренний конфликт. Взрослеющий юноша, который имеет в себе только детские представления о Боге и о путях Божиих, сталкивается с этими представлениями, и они для него больше недостаточны. И очень многие теряют веру, не потому что вера несостоятельна, а потому что их представление о вере или о содержании веры является представлением ребенка, тогда как их ум и общее развитие далеко превзошло эту стадию. Для тех, кто родился в вере, для людей, которые были верующими как бы изначально, тут очень важный вопрос о *вопрошании*. Очень легко пройти через всю жизнь, закрыв глаза и уши на вопросы, которые ставятся другими людьми. Эти вопросы ставятся ими не только для себя, они ставятся людьми для нас. И каждый раз, как мы встречаемся с каким-нибудь вопросом, мы должны остановиться и себя спросить: есть ли у меня внутренний опыт, изнутри которого я мог бы ответить на этот вопрос, или же, наоборот, у меня нет никакого содержания, а только ответы, которые я получил извне?..

Если мы встречаемся с верой не в детстве, а в какой-нибудь другой момент, когда мы уже созрели в значительной мере, то откуда мы ее встречаем? Мы знаем из Послания апостола Павла, что *вера от слышания*,

а слышание от слова Божия. Да, действительно, в эпоху апостольскую люди, изверившиеся в язычестве, слышали живое слово, которое им открывало новые глубины и раскрывало их души к вечной жизни. Это было Божие слово, доходившее до них через проповедь апостолов; это была не философская проповедь, она зиждалась не на умственных хитросплетениях, она была проявлением и раскрытием какой-то внутренней духовной силы. Есть место в Евангелии, где то, что говорил Христос, показалось слушавшим невозможно, слишком тяжело вместить, и многие начали уходить. Спаситель обратился к Своим ученикам: Не хотите ли **вы** уйти тоже?.. И Петр от имени других ответил: Куда же нам идти? У Тебя глаголы *вечной жизни...* Что это значит? Христос ни разу в Евангелии не говорил о вечной жизни описательно. Он говорил о вечной жизни внутри человека, Он говорил о Боге, но Он не говорил о том, каково будет после смерти или по окончании мира. Что же имел в виду апостол Петр? Я думаю, он хотел сказать: Когда Ты говоришь, Твои слова касаются в каждом из нас какой-то глубины и зажигается вечность в нас... Такова была, думаю, и проповедь апостолов. Она была обращена к людям, которые изголодались, которые изверились, и когда доходила до них проповедь о Христе, о том, Кто Он, что Он говорил, эта проповедь произносилась людьми, которые сами были перевернуты этой проповедью, преображенны, изменены. И это изменение, преображенность апостолов превращала их слова в силу и в жизнь. Мне помнится, как мой духовный отец как-то мне сказал: никто не может отказаться от земного и взойти в вечную жизнь, если он не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... Если мы не встретили ни одного человека, из которого хоть брезжит свет вечности, наша вера еще очень слаба. Это может быть легковерие, это может быть желание держаться хоть за что-то, но это не та творческая и преображающая вера, которую мы видим в апостолах и в первом поколении христиан. Поэтому первое, что случается, это встреча с живой верой живого человека, из которого сияет свет вечности, из которого идет слово, несущее в себе силу рождать в нас или, вернее, возбуждать, пробуждать ту вечную жизнь, которая заложена в нас Богом еще при нашем сотворении. Мы можем поверить человеку и можем поверить Христу только тогда, когда мы можем сказать: то, что ты говоришь, звучит истиной и охватывает меня радостью и раскрывается передо мной как красота... Еще Платон говорил, что красота – это убедительная сила истины. И мы можем принять веру, которая нам передается другим человеком, лишь постольку, поскольку отзываемся на нее внутренним ответом. Это может случиться через чтение Евангелия,

это может случиться через встречу с человеком, который нам являет сияние вечной жизни, но это должно стать личным опытом. Пока вера не является хотя в какой-то мере личным опытом, она является только одним из возможных мировоззрений, но спасительной, решающей для жизни силы она еще не имеет.

Вспомните, например, рассказ о том, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Что случилось? Христос ему открыл глаза. И что увидел этот человек? Первое, что он увидел, это глаза Бога, ставшего человеком, глаза Божественного сострадания, Божественной любви, Божественной кротости, лик Богочеловека. Это было первое и первичное для него откровение. Дальше ему пришлось встретиться с большой сложностью первохристианской общины, но от этого он никогда не мог уйти: он видел, он знал на опыте.

Мы все в какой-то момент, бывает, что-то уловим, переживем. А потом это куда-то уходит. Есть другое место в Евангелии от Матфея, где Христос после Своего Воскресения говорит Своим ученикам: *Пойдите в Галилею, там вы Меня встретите...* Казалось бы – зачем им идти в Галилею встретить Христа, когда Он тут с ними? какая еще встреча может быть?.. Но если задуматься над этими словами, то мы можем себе представить, как мне было сказано одним священником, что Галилея – это то место, где они впервые встретили Христа. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Капернаум, Кана Галилейская, Вифсаида – все эти места находятся в немногих километрах друг от друга. Апостолы, конечно, друг друга знали, может быть, детьми, подростками, юношами. И шаг за шагом они узнавали во Христе, в Иисусе из Назарета нечто, чего они раньше ни в ком и никогда не видали. Постепенно перед ними раскрывалась личность Христа, и раскрытие это завершилось тем, что, в конечном итоге, они в Нем узнали своего Учителя, своего Наставника и оказались готовы за Ним идти, куда бы Он ни пошел. Это было время первой встречи, не затуманенной ни гонением, ни сомнением, это была весна новой жизни, вешние воды. Потом пришли трагические годы в Иудее, но то были годы расцвета. И Христос захотел встретить Своих учеников там, где совершилась первая их встреча, еще не затемненная, не трагическая, где все было свет и где постепенно раскрывалась для них личность Христа. Там они могли уловить вновь все то, что они познали раньше о Спасителе.

И в каждом из нас есть такая Галилея. Каждый из нас может, если задумается глубоко, если неспешно возвратится в свое прошлое, уловить то мгновение, когда вдруг он почувствовал свою весеннюю свежесть, свою первозданную красоту, когда мог ощутить, что Бог так прост, так близок,

что все имеет смысл и все возможно. Потом это тускнеет, потом мы это теряем, но если мы могли бы относиться к своему собственному прошлому внимательно, мы могли бы все это снова обнаружить. Но одновременно мы обнаруживаем, что у нас есть с окружающими нас людьми, с каждым человеком нечто общее, – но не все. Каждый из нас единственен и неповторим, и поэтому мы не можем все иметь сообща, у каждого из нас свой уникальный, неповторимый опыт. Об этом говорят, например, слова во второй главе книги Откровения, что в свое время каждый из нас получит имя, которого никто не знает, кроме Бога, его дающего, и человека, его получающего. Это означает ту неповторимую связь, которая есть между Творцом и Его тварью, каждой отдельной тварью в ее неповторимости, уникальности.

Но одновременно мы живем в обществе людей, из которых каждый знает Бога по-своему; а вместе с тем Бог-то один, Тот же самый. И поэтому, если говорить о том, как мы познаем Бога и как мы Его знаем, можно сказать: “Я тебе могу сказать о Боге нечто, что я знаю, а ты мне скажи то, что ты знаешь, и сообща мы Его познаем глубже, шире, лучше и благоговейнее”. И в этом, может быть, смысл общинной жизни христиан. Каждый знает Бога, а вместе, делясь своим опытом не только в разговоре, но в общей молитве, в общении сердец, душ, мы друг с другом делимся и приобщаемся друг ко другу.

Приходит момент, когда мы действительно истощили, исчерпали все, что знаем сами, и все, что нам может сказать наш ближний и даже Церковь. И тогда остается одно. В Евангелии нам говорится, что Бога никто не видел, знает Его только Единородный Сын Божий, находящийся в недрах Отчих. В конечном итоге, мы должны идти ко Христу, к Нему устремляться, в Него взглядываться, в Его слова вслушиваться и безмолвствовать в Его присутствии, так, чтобы таинственно приобщиться тому, Кто Он и что Он нам может открыть за пределом всяких слов о Боге и о нас самих.

Но я сказал раньше, что в какой-то момент тускнеет наше живое чувство, живой опыт. Где грань между опытом и верой? Вера определяется в начале 11-й главы Послания к евреям как *уверенность в вещах незримых*, то есть внутренняя уверенность: то, чего мы не можем никакими нашими вещественными чувствами познать, остается правдой. В этом смысле слово “вера” относится не только к Божественным предметам, к Богу Самому. Вера относится также, как уверенность в незримом, к красоте, к любви, ко всему тому, что мы переживаем опытно, о чем мы можем вторично говорить, но что мы не строим логически, а получаем как

непосредственное переживание, опыт и знание. Но есть место у святого Макария Великого, где он старается определить грань между живым, непосредственным опытом и верой, которая из него проистекает. И он дает пример: представьте себе, что вы лежите в лодке, которую качает море. В это время у вас есть живой опыт моря, которое вас несет, волн, которые вас качают, неба, которое широко расстилается над вашей головой, звезд, всего. Вы лежите и все это опытно знаете. Но потом начинается отлив, и вдруг лодка оказывается на песке. У вас больше нет живого непосредственного опыта того, что вы пережили, но никто у вас не может отнять уверенность, то есть опытное знание, того, что с вами произошло. Вы знаете, что такое море, вы знаете, что такое колебание волн, вы знаете, что такое высокое бездонное небо и звезды, – все это вы знаете. Это уверенность в том, что перестало быть предметом вашего чувственного опыта. И вот здесь вы должны помнить, что вера не заключается в том, чтобы голословно поверить сказанному нам, а в том, чтобы хоть частично, хоть сколько-то пережив нечто, сохранить это в нашем опыте как уверенность. И дальше – вырастать вопрошанием, сомнением, если нужно, и расширением нашего опыта, в веру, которая заключается в уверенности в пережитом, в верности тому, куда это ведет, чего это от нас требует, и является также и знанием того, что раскрылось нам через этот опыт.

На этом я кончу свою беседу, и, если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы можем ими заняться некоторое время.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Дети вырастают в чуждой среде. Как общаться, как способствовать сохранению в них веры?

Я думаю, что одна из проблем, которая встает перед подростком, в том, что его обучают чему-то, когда он еще маленький, а потом, когда он на десять или на пятнадцать лет старше, вдруг обнаруживают, что у него и сомнения, и вопросы, и непонимание. Он перерос все то, чему его учили в детстве, а в интервале мы ничему его не научили, потому что нам в голову не приходило следить за тем, какие вопросы в нем рождаются, и обращать внимание на эти вопросы, относиться к ним всерьез, не просто “как же так ты это ставишь под вопрос?..” Когда-то я привел к одному священнику в Париже студентку медицинского факультета, учившуюся вместе со мной, умную, живую девушку. Она мне говорила, что ни во что не верит, и я решил ее привести в священнику, потому что я тогда не дерзал вообще говорить о вере ни с кем (я обнаглел с тех пор). Она ему сказала: “Батюшка, я не верю в существование Бога”. Он ответил: “Как же ты

можешь не верить в существование Бога, раз Он тебя сотворил!” Она возразила: “То, что вы мне говорите, – сплошное идиотство!”. Он глянул на нее и приказал: “Вон!” Это, конечно, крайний пример, но часто бывает, что когда подрастающий ребенок нам ставит вопрос, мы на него не отвечаем. И не отвечаем, к сожалению, очень часто не потому, что мы невнимательны к нему, а потому, что нам нечего отвечать, мы сами никогда не думали.

Как-то я собрал группу родителей и детей, подростков. Взрослые ожидали, что я проведу беседу, что они будут сидеть спокойно, я буду обращать внимание на детей, а родители будут павами сидеть: они-де все знают. А я предложил детям: “Вот у вас есть вопросы, – ставьте их своим родителям, и посмотрим, что они ответят”. И родители ничего не смогли ответить. После чего реакция родителей была: “Как вы могли так с нами поступить! вы нас осрамили перед нашими детьми!”. А со стороны детей другая реакция: “Как было замечательно! Теперь мы знаем, что наши родители такие же, как мы!”. Это же трагично. Если бы родители следили за вопросами ребенка и прислушивались, не считали их “детским лепетом”, вопросом, который ребенок, конечно, перерастет когда-то, то не оказывалось бы внезапно: “Ой, что я могу ответить из моего опыта?” А если вдруг обнаружишь, что тебе нечего отвечать, то, может быть, кто-нибудь другой может ответить? может быть, кто-то другой думал, хотя ты и не задумывался? И я уверен, что тут у родителей огромная ответственность. Они и сами заглушили эти вопросы (или жизнь им не давала времени думать, это тоже бывает) и не следили за детьми в тот промежуточный период, когда можно было шаг за шагом с ребенком идти. Мы часто так делаем: ребенок учится в школе, мы вместе с ним учимся, чтобы ему помогать попутно. Но мы этого не делаем по отношению к вере. К Закону Божию – да: вот тебе катехизис, вот тебе Новый Завет, Ветхий Завет, все что хочешь; мы и сами, может быть, даже что-то знаем об этом. Но не в знаниях дело, а в том, какие вопросы у него встают, откуда они берутся. Некоторые вопросы берутся извне: товарищ сказал, или школа, или время такое, атмосфера общая; а некоторые вопросы встают вполне добросовестно: “Как это может быть? я больше не могу в это верить!”. И часто нужно было бы сказать: Слава Богу, что ты больше не можешь верить в такого Бога, в Которого ты верил, когда тебе пять лет было. Потому что такого Бога и тогда не было, и не надо было тебе такого Бога как бы “подсовывать” - для удобства родителей, конечно.

Есть подростки, молодые отпрыски наши, которые если и верят в Бога, то не так, как нам хотелось бы. В церковь не ходят, верят в своего

какого-то совершенно непонятного Бога, хотя, может быть, даже из Священного Писания вычитанного...

Во-первых, это очень мало похвального говорит о родителях, когда они признают, что дети их верят в какого-то непонятного им Бога. Родителям, знающим своих детей, следовало бы попробовать понять, в какого Бога они верят. Это первое. Раньше чем давать ответы, надо было бы задуматься над вопросом. Часто – да, дети подрастают и начинают верить или, вернее, выражать свою веру, описывать свою веру в таких категориях, которые нам чужды. Но нам-то надо их понимать, мы потому и взрослые... Вернее, будучи взрослыми, мы должны были бы быть в состоянии понять ребенка, продумать его вопрос, продумать, что за ним стоит, и перед собой поставить вопрос: вот мой сын, моя дочь верит в Бога такого-то. Каким образом под влиянием моего воспитания и сторонних влияний мог вырасти такой образ Божий? Что я могу на это возразить?.. Сказать: “это ересь, неправда, ложь” – очень легко, но это не ответ. У меня своих детей нет, но я, слава Богу, сорок первый год на этом приходе, и детей-то очень много оказалось. И я думаю, что каждый раз, когда тебе дают картину: “Вот каким я представляю Бога”, нельзя говорить: “Ой, нет! Он не такой!”, а надо поставить вопрос: “Как ты до этого дошел? Как интересно! Объясни”. Но мы не ставим вопрос так: “Ты мне объясни, потому что я не понимаю”, мы сразу говорим: “Я тебе объясню, что ты не прав”. А когда человеку говоришь, что он не прав, он сразу жестеет, конечно. Кому охота быть неправым всегда, **всегда** – потому что он маленький, а ты большой?.. И я думаю, что одна из задач нашего времени, когда все ставится под вопрос, именно вдуматься, вчувствоваться, взглядеться в вопросы, которые вырастают вокруг нас, и попробовать понять: “Откуда они берутся, как могло вырасти такое уродство?” Или наоборот: “Может быть, он прав?”

Для этого нужно, чтобы он – или она – хотели с нами об этом говорить и излагать свое представление о Боге, совместно с нами разбирать. Добрая воля нужна не только со стороны родителей...

Это правда; но это возможно, если с раннего детства устанавливать диалог, а не монолог. А если ребенок должен быть только ушами, а родители только голосом, то ничего не получается. Но если с самого раннего детства родители проявляли живой интерес: “Как ты мне интересен! Каждая твоя мысль мне интересна, весь твой опыт и все движения ума и души мне интересны. Объясни мне, я не понимаю”... Беда с родителями в том, что они почти всегда себя ставят в такое положение: “Я-де понимаю, а ты не понимаешь”. А если родители говорили бы (что

просто правда): “Я не понимаю, ты мне объясни,” – очень многое могло бы быть объяснено. Потому что дети с готовностью объясняют, что они думают, если не ожидают, что их тут же посадят и докажут, что они не правы.

Знаете, есть (я не помню, в книжке ли, которую отец Софроний написал о старце Силуане, или в одном письме, которые Силуан когда-то писал) рассказ о том, как один миссионер, живший на Востоке, с ужасом говорил, что никого не может там обратить. Силуан спрашивает: “А что ты делаешь?” – “Да вот, я прихожу в китайское капище и обращаюсь к молящимся: как вы можете молиться этим истуканам? Это же дерево, это камень, это металл. Сбросьте все это и поверьте в Живого Бога, Которого я вам буду проповедовать”. Силуан снова спросил: “А что тогда случается?” – «Они меня бьют и выкидывают вон из храма». Силуан тогда посоветовал: “Знаешь что, ты достиг бы большего, если бы постоял, послушал. как они молятся, посмотрел на их благоговение, а потом пригласил бы нескольких из них посидеть на ступеньках храма и сказал бы: вот я видел, как вы молились, как вы себя держали в присутствии Бога. Расскажите мне о своей вере... И каждый раз, когда кто-то из них скажет что-нибудь, что очень близко к истине, скажи ему: Как это прекрасно! Но знаете, одного не хватает в вашем представлении... – и прибавь одну крупицу христианского мировоззрения. Тогда они обогатятся и раскроются”.

А когда человеку говорят: “Все, что ты говоришь, вздор” или: “Нечего мне от тебя узнавать”, конечно, он закрывается. И я думаю, что часто с детьми так бывает. Я видел очень многих детей, которых именно так осаживали: “Какую белиберду ты несешь!” Ребенок никогда не несет белиберду, ребенок всегда очень серьезен. Но родители думают большей частью, что если он не говорит их языком, не выражает их взглядов, то это вздор. Я не говорю, что ребенок всегда прав, – конечно, нет. Я говорю о том, что часто его вопрос, или несовершенное представление, или то, как он видит вещи, это дверь куда-то, а не запертая дверь.

Но если это уже произошло? Живем – видим детей полтора часа в день, живем параллельной жизнью... Вопроса не услышать, потому что его никто не задает... Даже когда говоришь: “Но расскажи мне, как ты живешь”, – ответ может быть, с каким я встречалась: “Мы двадцать лет с тобой все делали, могу я жить своей жизнью наконец?”

Я думаю, что можно, не ставя вопросов, а просто так сидя, рассказать что-нибудь о себе, можно раскрыться сколько-то. Если ребенок, подросток на это отзовется критически или просто не захочет слушать, это неважно. Ты с ним поделился, он тебя будто не послушал; но он не мог не

услышать, и где-то в памяти это задерживается. Я глубоко уверен, что в памяти задерживается такое, о чем мы не имеем даже представления. Я вам дам пару примеров. Я в детстве жил в Персии и говорил по-персидски. Уехали мы, когда мне было почти семь лет, попали на Запад, и через два года я не понимал и не мог сказать ни одного слова по-персидски. Меня отдали жить в лицей, и когда я ночью бредил вслух, сны видел, я бредил на персидском языке, на котором говорить не мог и которого не понимал. Значит, он где-то во мне был.

И другой пример, более для меня значительный: как то, почему научаешься в детстве, в течение жизни отлагается в человеке и не покидает его. Я помню такого певца Федорова, баса. Он умирал от рака, я его навещал каждый день, и каждый раз сестра милосердия мне говорила: “Зачем вы пришли? он без сознания”. Я шел к нему в палату, становился около него и – ну, слово “петь” ко мне не подходит, но каким-то образом производил звуки, которые были направлены к тому, чтобы молебен спеть. Каждый раз, когда я пел, в какой-то момент он начинал приходить в себя, и к концу молебна он участвовал в нем еле слышным образом. Потом пришел день, когда я его посетил, и по одну сторону кровати сидела его жена, по другую – дочь. Они только что приехали из Японии, не видели его в течение нескольких месяцев. Они видели его последний раз здоровым, а теперь он умирал, был без сознания. Я им сказал: “Сядьте рядом, я попробую его вернуть к жизни”. Я встал на колени рядом с ним и стал, как умел, петь песнопения Страстной седмицы. И можно было видеть, как в нем поднимается сознание. В какой-то момент он открыл глаза, я ему сказал: “Повернитесь налево, здесь ваши жена и дочь. Проститесь с ними, потому что вы умираете”. Они простились, потом я его перекрестил и сказал: “Теперь вы можете умереть мирно” – и он ушел в небытие и умер. Песнопения, которые он пел в течение всей жизни, так глубоко отложились в нем, что, когда он их слышал, они имели над ним такую власть, что вернули его к сознанию.

Я уверен, что, если бы мы говорили с детьми или с подростками, просто рассказывали бы им – слушают, не слушают – вещи, которые того стоят, делились бы с ними самым сокровенным, драгоценным нам опытом, это куда-то ушло бы в них. Когда это вернется – неизвестно, но это неважно. Времена и сроки не нам знать, но давать возможность всему этому отложитьсь в душе человека мы можем. Скажем, у меня нет иллюзий, будто, когда я проповедую, то, что я говорю, доходит до каждого человека и пользу ему приносит. Но я уверен, что некоторые вещи, которые как бы через сито прошли, рано или поздно вдруг могут

проснуться. Я мог бы издать целую книжку своих проповедей под названием “Собака лает – ветер носит”, но дело-то в том, что собака лает – и это где-то застrevает.

И застrevает страшно интересно иногда. Я когда-то преподавал в Русской гимназии, и помню, на моем уроке одна девочка сидела и рыдала, причем не только от скуки, а, вероятно, что-то было другое. Когда мы выходили из класса, я остановил эту девочку и что-то ей сказал вроде “никогда не отчаивайся” и что-то еще. Она прошла. И она меня разыскала через 25 лет, чтобы поблагодарить за то, что я ей тогда сказал. Значит, это куда-то пошло.

И так часто бывает, что слышанное где-то когда-то вдруг возвращается в нужную минуту как воспоминание, как картина, как способность что-то сделать, какое-то движение души совершить. Я думаю, что это страшно важно: именно – делиться, даже когда тебя не слушают, а не то что: “Сядь да слушай!”.

Могут ли книги помочь? и какие? я имею в виду детей...

Тут у меня большое затруднение в том, что я не был верующим ребенком. Для меня Бог не существовал до 14–15-летнего возраста, поэтому у меня нет никакого представления о том, что можно дать читать ребенку, чтобы ему открыть область веры. Я только знаю, что за последние лет шестьдесят мне приходилось заниматься с детьми самого разного возраста, и единственное, что можно сделать – это передавать им свое переживание о прочитанном. Причем можно читать на одном уровне и передавать на другом. Можно читать, скажем, Священное Писание, но не вычитывать его, как есть, потому что оно еле понятно, а рассказать рельефно, живо, как рассказ, как событие, а потом, когда ты рассказал своими словами так, чтобы это дошло, взволновало ребенка, можно предложить: “А теперь давай прочтем так, как Христос эту притчу рассказывал”. И тогда ребенок делается способным эту притчу прочесть в Евангелии и в ней узнать все, что он пережил до того. Я это делал в течение каких-то шести лет, когда у нас была детская школа на русском языке. Я с детьми проходил воскресные чтения и другие отрывки Евангелия. Я сначала им рассказывал своими словами как можно более живо, выпукло, не перевиная ничего (то есть не прибавляя, не убавляя, но можно рассказать вещи очень разно). А потом у нас бывала дискуссия о том, как они это воспринимают, что это для них значит. А завершая дискуссию, я говорил: “А теперь прочтем” – и этот отрывок приобретал смысл в той форме, в которой он написан. Но если ребенку давать читать, скажем, Закон Божий для детей или Катехизис митрополита Филарета,

который – гениальное произведение, но не для детей, или даже жития святых, которые часто написаны приторно или описывают такие невозможные и ненужные вещи, конечно, это их останавливает. То, чего они не могут воспринять, они выкинут, но они выкинут тогда все, они и святого этого выведут как бы за линию, потому что то, что о нем сказано, просто невыносимо.

*А как быть с теми детьми, с кем нет возможности видеться?
Допустим, у меня в России крестник...*

Я отвечу сначала плоскостью: молиться о нем. Я называю это плоскостью, потому что это самоочевидно. Но с другой стороны, действовать в зависимости от обстоятельств. Скажем, теперь можно ему писать, вероятно, легче, чем десять лет тому назад. Можно найти кого-нибудь там, кто бы им заинтересовался и с ним поделился чем-нибудь. Это уже вопрос другого рода.

Конечно, есть книги, которые можно дать читать. Скажем, для меня первичную роль сыграло Евангелие, но потом жития святых. Но мне посчастливилось, я читал жития святых, которые не заключались только в рассказах о таких чудесах, в которые едва верится. Есть чудеса, в которые и “не верится” в каком-то смысле; но знаете, со святыми дело так обстоит, что часто рассказывается о том или другом событии, которого, может быть, и не было, но которое его характеризует, и в этом рассказе он весь, как живой. Есть, например, рассказ об одном из святых киево-печерских. Он как-то вечером сидел у себя в келье и услышал странные звуки в умывальнике. Он подошел и видит: в умывальнике осталась вода, и в ней барабхается бесенок. Он взял крест и положил на умывальник так, чтобы бесенок оказался под крестом. Бесенок пригнулся, только голова из воды торчит, и говорит: “Отними, отними этот страшный крест, мне страшно от него!”. Святой отвечает: “Я отниму только при одном условии: что ты мне сейчас споешь ту песнь, которую ты пел, когда был светлым ангелом”. – “Не могу, – говорит тот, – забыл!” – “Ну хорошо, – говорит святой, – я тогда тебя перекрещу”. – “Нет, нет не крести меня, я попробую!”. И вот бесёнок начал пробовать. Голос у него, конечно, был уже не ангельский, слов он уже точно не помнил, но со страху он начал вспоминать, сначала кряхтел, потом постепенно слова возвращались, потом голос начал как-томягчеть, и в какой-то момент он вдруг всей грудью запел песнь, которую пел, когда был светлым ангелом, и вылетел из этого умывальника светящимся ангелом. Я не хочу сказать, что это исторический факт. Но я хочу сказать, что когда это ребенку расскажешь, это до его сознания что-то доводит, – хотя бы то, что этот чертенок, когда сделал попытку петь

ангельскую песнь, через нее начал светлеть и оживать и меняться.

И масса есть таких рассказов. Я могу рассказывать без конца из житий святых, потому что я на них как бы воспитывался. И эти рассказы не тем меня интересуют, будто это история. Например, когда говорят: “Вы себе представляете: это святой на расстоянии одиннадцати верст видел через стены своей кельи!” – меня это не волнует. Если он мог вообще видеть через стены своей кельи, двадцать верст или сто верст никакого значения не представляют. Есть рассказ из жизни французского писателя Вольтера. Какая-то благочестивая женщина хотела обратить его к вере и говорила: “Как же вы можете не верить в святого Дионисия Парижского? Его обезглавили в одном конце Парижа, и он, взяв свою голову, прошел через весь Париж и остановился на другом конце”. И Вольтер ей ответил: “Знаете, в таких случаях только первый шаг труден”.

ПОСЛЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЗНИ

Месяц-другой тому назад в течение одного собеседования с группой наших прихожан мне был поставлен вопрос; в тот момент он прозвучал и неуместно и немножко смешно, потому что ставил его очень молодой человек, не успевший еще в течение жизни сделать решающих выводов. Я говорил о том, что мы должны всей душой, всем сердцем, всей своей крепостью, всей своей мыслью принадлежать Богу, но что эта принадлежность наша Богу обозначает также очень вдумчивое отношение к нашему ближнему, как можно более глубокое сострадание и понимание. И тогда мне был поставлен вопрос: “Не пора ли Вам, отец Антоний, в Ваши годы, наконец, выбрать между Христом и Вашими различными привязанностями – Патриаршей Церковью, Россией, людьми?” – ради которых, как мне кажется, я жил и хочу жить... Тогда этот вопрос прозвучал так странно, исходя от очень юного человека; а затем я над ним задумался. Так бывает часто: сначала видишь вопрос с его мелкой стороны, главным образом как бы по отношению к себе, а потом ставишь себе вопрос вновь и вновь, но уже не от имени Павла или Ивана, а от имени Христа: не ставит ли Он мне этот вопрос день за днем, не пора ли выбрать?

Этот вопрос, мне кажется, все время, так или иначе, стоит перед каждым из нас. Однако этот вопрос не может быть решен враз, потому что выбор, который перед нами стоит: между Христом и антихристом, между правдой и неправдой, между Богом и опустелым, обезбоженным миром, между собой и ближним – этот выбор мы можем сделать раз и навсегда в принципе: понять, что мы выбираем Бога, что мы выбираем жизнь, а не смерть, не прозябанье, что мы выбираем любовь, а не ненависть, преданность, а не измену, ближнего, а не самого себя – и т.д. Но вместе с тем этот выбор приходится делать каждый день, почти каждое мгновение, все время. Если бы мы были внимательны к самим себе, если бы мы думали не только о крупных наших поступках, но и о поступках, которые кажутся нам мелкими, и тем более, если бы мы обратили внимание на движения своего сердца, на мысли, то увидели бы, что мы все время внутренне колеблемся. Колеблемся не где-то в основе: мы не отвлекаемся от Бога, мы не отворачиваемся от Христа, мы не делаемся чужими своей Церкви, своему народу, своему ближнему, своим друзьям, своей семье, даже людям совсем далеким. Но на самом деле порой у нас сердце горит теплом, вдохновением; а порой наше сердце почти каменно, безжизненно-

бесчувственно. Порой мы хотим того добра, той правды, которые являются как бы внутренним содержанием нашей жизни; а порой приходит мысль: как бы легко было, если бы это было не нужно, если можно было бы плыть по течению, если бы можно было бы все забыть и помнить только то, что сейчас меня занимает, радует, тешит...

И вот вопрос, поставленный мне этим юношей, стоит передо мной и перед каждым из нас не от его имени, а от имени Самого Бога, самой совести... Я думаю, что каждый из нас вполне честно мог бы сказать, что он когда-то в жизни сделал выбор: выбор за все то, что является красотой, истиной, правдой, и от этого выбора никто из нас никогда не отказывался. Но что случается в нашей жизни? Как часто этот, раз навсегда сделанный, выбор бездейственен. Вы, наверное, помните слова Христа о том, что мы дадим ответ за каждое праздное слово. И большей частью люди воспринимают это так: неужели нельзя дружелюбно побеседовать, пошутить, сказать что-то, что вечного значения не имеет, но полно тепла, ласки, дружбы! Неужели мы призваны говорить только веские, вечные слова?

На это можно ответить две вещи, которые, мне кажется, надо помнить. Первое: по-русски “праздный” значит бездейственный, лишенный содержания, пустой. Праздное слово – это такое слово, которое, как пустоцвет, как пустой звук: прогремело и не принесло никакого плода; это слово, в которое не вложено содержание, это слово, которое не творит жизнь, ни свою, ни чужую, которое порой отражается в чужой жизни больше, чем в моей собственной. И вот за такие слова нам придется отвечать; не за всякую шутку, не за ласковое слово, а за пустое, мертвое, бездейственное слово, даже за святые слова, на которые мы так расточительны и которые плода-то в нас не приносят, как будто к нам не относятся. Меня много раз поражало изречение Евангелия: *От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься*. Мне вспоминаются эти слова каждый раз, как я провожу беседу, говорю проповедь, встречаюсь с человеком, ожидающим от меня доброго, животворящего слова; и мне делается боязно и жутко и больно. Ведь за жизнь собралось столько добрых, правдивых мыслей, столько правды; этой правдой можно поделиться, и вместе с этим с ужасом думаешь: **я-то** все это знаю, обо всем этом говорю, других вдохновляю, а сам остаюсь мертв, бездейственен... И мне вспоминается пример. Был в одном из больших европейских городов священник, замечательный проповедник, человек, который мог довести до сердца, до ума, до воли, до жизни людей евангельские слова. Я тогда был юношей, занимался молодежной работой,

и мы решили пригласить этого священника провести беседу с детьми, чтобы он нам показал, как говорят о Боге, как можно довести до души живого человека Живого и Животворящего Бога. Он провел беседу перед детьми разного возраста в присутствии молодых людей, которые занимались этими детьми. Все взрослые были от беседы в восторге. Когда беседа кончилась, мы спросили одного из детей, мальчику лет семи-восьми: “Ну как, интересно было?” И он сказал одну из самых страшных вещей, которую я в жизни слышал о проповеди, о лекции, о беседе, о встрече; он сказал: “Замечательно было! Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорит”.

Вот это очень страшно. Я сейчас не думаю о том, каков был этот священник, – он был гораздо глубже и гораздо более значительный человек, чем этот ребенок мог уловить; но говорил с детьми не от своей души в их душу, а стараясь словами их уловить; он не умел с детьми говорить, и его слова остались для этих детей пустыми. То, что могло быть святыней, оказалось пустословием.

И опять ставишь перед собой вопрос: а чем являются мои слова, моя жизнь по отношению к людям?.. Когда я говорю “моя”, я о себе думаю; но когда вы слушаете “моя”, вы можете подумать о себе самих: чем представляется ваша жизнь, чем представляется ваше слово по отношению к другим людям?

Но тогда возникает другой элемент. С одной стороны, наши слова должны быть полны содержания, которое может идти только от сердца, только от правдивой мысли, только от правды жизни. Но не обязательно эти слова должны быть громки, не обязательно в этих словах должно звучать имя Божье; можно говорить о чем угодно, лишь бы в этих словах была любовь, забота, чистота сердца и ума, правда житейская. Есть рассказ из жизни Амвросия Оптинского; он как-то беседовал с людьми, которые ставили ему вопросы о духовной жизни. И вдруг посреди беседы, в момент, когда, казалось бы, они говорили о самом святом, он прервал разговор, выудил из толпы какую-то старую крестьянку, посадил рядом с собой и долго-долго говорил о том, как надо кормить индюшек. Когда он кончил и вернулся к своим первым собеседникам, ему был поставлен вопрос: как вы могли это сделать? Вы же говорили о Боге, о духовной жизни, о спасении души – и прервали это для того, чтобы говорить о пустяках с какой-то старушкой из соседней деревни?.. И Амвросий тогда сказал замечательную вещь: беседа, которую мы вели с вами, была роскошью; вы и без меня много знаете; на том, что вы знаете, вы можете прожить и в Царство Божие войти. Но для этой старушки ее индюшки –

вопрос жизни и смерти; она нанята их пасти, ничего другого в жизни не умеет делать; и индюшки мрут. Ее выгонят, и она будет нищей... Старец Амвросий своим прозорливым умом и просветленным сердцем сделал выбор: говорить о самом простом, но имеющем абсолютное значение для человека, вместо того, чтобы говорить громкие слова о том, что может подождать – не потому что Бог второстепенен, а потому что Бог есть любовь. И не потому что человек, ставивший вопрос о духовной жизни, не нуждался в спасении; а потому что он и без того знал достаточно, чтобы спастись. Потому что спастись можно на очень немногом, достаточно одну заповедь прожить до конца, одно слово евангельское выполнить до конца – и стать святым.

Примеров в житиях святых сколько угодно. Павел Препростый из египетской пустыни был крестьянином. Душа его тосковала о Боге, о вечности, о святости; он пришел к святому Антонию Великому с вопросом: “Что мне сделать, чтобы спастись?” – “Стань монахом и спасешься”, – был ответ”. – “А что это значит?” – “Будешь жить в пустыне, спать на голой земле, жить впроголодь, жаждать, трудиться сверх твоих сил, молиться”. Павел отвечает: “Все, что ты вначале сказал, я всю жизнь делаю; я же нищий крестьянин, постели у меня никогда не было, сытым я никогда не бывал, пью воду из соседнего источника, работаю сверх сил, – а вот молиться не умею; как это делают?” Антоний ему отвечает: “Просто! Каждый день наизусть говори псалтирь”. – “Но не знаю ее!” – “Сядь рядом со мной, будем плести корзину; я буду говорить, а ты – повторять. Когда затвердишь, будешь самостоятельно молиться”. Вот они сели плести корзину, и Антоний сказал первые слова первого псалма: *Блажен муж, который никогда не ходит на совет нечестивых...* Павел повторил раз другой и сказал: “Позволь, я похожу и затвержу эти слова”. Ушел и не вернулся. Прошли годы. Лет через сорок Антоний его встретил в пустыне: “Что с тобой случилось? Ты хотел от меня научиться псалтири, услышал только первые слова первого псалма и ушел?!“ И Павел со слезами ему говорит: “Да, отче! Вот уже сорок лет я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит на совет нечестивых, который никогда не прислушивается к голосу беса, никогда не слушает внутренних голосов, зовущих его ко злу...” Всю свою святость, подлинную, глубокую чистоту души, ума, сердца этот человек построил на одной строчке из псалтири.

Мы так много знаем, так страшно много знаем, но это остается праздным, бесплодным знанием; это знание лежит в нас, как книга на полке, – в любую минуту можем взять и прочесть и перечесть, и можно о ней говорить – но это не жизнь. А одно слово, прожитое до конца, могло

бы нас сделать другим человеком. Примеров героического или простого подвижничества бесконечно много; но все подвижничество сводится к тому, что человек не дал слову залежаться, что человек не дал слову звучать пустым звоном, а из него сделал жизнь.

И я возвращаюсь к поставленному мне вопросу: не пора ли выбор, когда-то сделанный принципиально между правдой и неправдой, светом и тьмой, жизнью и смертью, Богом и обезбоженностью жизни – осуществить? Молоды ли мы, стареем ли мы, очень ли стары – не важно, потому что духовная жизнь не меряется временем, духовная жизнь это просто **жизнь**; и у каждого из нас бывало мгновение, когда она могла осуществиться, а потом что-то случилось, источник занесло песком. Но всегда можно к нему вернуться, он в нас есть, журчит вода под песком живой, светлой струей... Как часто нам думается: сколько было надежд в молодые годы, сколько было возможностей, – пропущены возможности, потускнели или завяли надежды... Неправда! В одно мгновение все возможности могут стать реальностью. Я не говорю о вещественных возможностях, а о возможностях стать внутренне тем человеком, о котором каждый из нас мечтал. Каждый из нас когда-то мечтал о свете, о чистоте, о глубине, о любви, о какой-то прозрачности души, о бесстрашной смелости во имя правды, и Бога, и человека, – все это возможно. Только для этого надо куда-то вернуться: не в пространство, а в глубину.

Вы, наверное, помните, в конце Евангелия от Матфея ангел говорит ученикам Христовым после Его Воскресения: Идите в Галилею, там вы Его встретите... Казалось бы, – зачем ходить в Галилею? Разве Христос не явился им в первую ночь после Своего Воскресения в самом Иерусалиме? Зачем надо было возвращаться вдаль? Но подумайте о том, чем была Галилея для этих людей: это было место их детства, место, где они были подростками и юношами, место беззаботных дней, место цветущих надежд, то место, где они впервые встретили Христа, когда не было на небе ни тучки, когда все казалось таким простым, лучезарным, возможным, свежим, как весна. Это действительно была весна их жизни. После этого прошли годы; всего-то три года – но как эти годы были тяжки, сколько они увидели вокруг себя ненависти, злобы, подозрения, сколько они пережили за Христа и за себя. И Христос им говорит: Оставьте эти годы позади, вернитесь туда, где жизнь зачиналась, нарастала, стала быть ключом, где раскрылась перед вами возможность, вернитесь к весне своей жизни, там Я вас снова встречу, и там вы познаете, что Воскресение – это действительно весна, и дар Святого Духа излившийся – тоже весна, начало

полной, непобедимой жизни...

И каждому из нас говорит Господь: “Вернись в Галилею, вернись куда-то в свое прошлое, вернись”. Есть у каждого из нас несколько таких мест; это могут быть оазисы в очень жгучей пустыне, либо это может быть то время – мгновение или годы – когда все началось. И каждому из нас надо вернуться к этим мгновениям, к этим годам, к этим истокам жизни. А если вернуться, тогда можно снова начать жить. Но жить не значить “переживать”; это значить – вернуться в ту сердцевину жизни, где слово “любовь” означает лиющую отдачу себя Богу, людям. В молодые годы нам кажется, что надо это сделать как бы телесно, всем трудом ума, тела. В старые годы делается ясно, что это можно сделать только сиянием любви из сердца, из глаз, любовью слова, молитвы, заботы... И когда мы приходим на говение, снова встает вопрос: вот какое-то мгновение, которое мы можем использовать; мы можем попробовать в течение этих немногих часов вернуться вглубь, вспомнить светлое и поверить – не только в Бога, но и в себя, поверить, что раз это во мне было и живет, **всё** возможно. Говоря словами апостола Павла: *все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе, ... ибо сила Божия в немощи совершается.*

* *

Если принять за истину то, о чем я говорил – что Сам Господь все время обращается к каждому из нас с вопросом: “Не пора ли тебе поверить в себя самого? Не пора ли тебе поверить, что **всё**, на что ты надеялся, перед тобой лежит, вся красота, в которую ты верил, вся правда, в которую верил – всё перед тобой открыто?” – надо поставить и другой вопрос: каково, в конечном итоге, последнее содержание жизни? Если все перегорит, если все пройдет – что останется? Апостол Павел говорит о том, что есть люди, которые строят из дерева, а кто-то из соломы, кто-то из камня, кто-то из золота или серебра; когда придет испытание огнем – что останется? В конечном итоге останется **человек**; человек без прикрасы, человек не защищенный никакой видимостью, человек, которому не за что прятаться, человек, которому некуда прятаться. Что это за человек? Неужели останется только какой-то мертвый костяк? Или неужели войдут с нами в вечную жизнь те вещи, которые мы уже на земле почитаем за мелкие, которыми мы забавляемся или которые одурманивают нас? Что останется в конечном итоге?

Серафим Саровский, разговаривая с кем-то из посетителей, раз сказал: средняя полоса жизни всегда бурная – и этим смущаться не надо; важно, как жизнь начинается и чем жизнь кончается... Если поставить вопрос о том, начинается ли она в благополучии, счастье, окруженная

заботой или, наоборот, голодная, холодная, обездоленная – тогда недоумение берет: неужели **это** важно? И когда думаешь о конце жизни: жизнь кажется очень разнообразной, а в конечном итоге приходит момент, когда каждый человек остается один перед лицом своей собственной смерти. Есть какой-то момент, когда человек уже не окружен любимыми и еще как бы не вошел в вечность, когда земля куда-то уходит далеко-далеко, а небо только-только отверзается; неужели это последнее? Мне кажется, что и первое и последнее, зачаток и последний итог жизни – это то, что доступно и малому ребенку, и ветхому старику, – малому ребенку, в котором еще не развились все умственные его силы, еще не окрепло тело, и ветхому старику, от которого все это ушло. Что же в этот момент есть? Что может оставаться или что было изначально? Помните, Христос говорит: *Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие...* Каковы свойства ребенка, которые предлагаются нам в пример? ясно, что не детскость, а что-то другое. Посмотрите на ребенка: при каждой нужде – голодно ли ему, холодно ли ему, тоскливо ли – он плачет и взывает о том, чтобы ему было дано нужное. И делает он это, потому что, не обманутый жизнью, он не потерял еще доверчивости. Ребенок доверчив до конца; он верит в любовь; и именно поэтому ему не страшно. А когда он чего-нибудь испугается, он, опять-таки, верит, что в своей беззащитности, беспомощности он непременно найдет любовь, которая его защитит – мать, отца, которые его поднимут на руки. Ребенок беспомощен и доверчив, он бесстрашен, потому что верит в любовь, он беззащитен и вызывает жалость, но не унижающую, а ласковую, теплую жалость. И еще: как умеет ребенок радоваться, как он умеет смеяться; как он благодарен за дар жизни и за все, что жизнь ему дает. Вот это мы теряем, все это мы теряем во взрослой нашей жизни. Мы теряем доверчивость, потому что жизнь нас учит, что она порой обманывает; обманывают люди, обманывают ожидания, надежды, мечты. И мы не умеем справиться с этим обманом. И вместе с этим, пока мы не научилисьправляться с обманом, с изменой, мы будем до конца зависеть от событий и от людей и можем быть сломлены, разбиты. Ребенок еще не понял, что есть на свете обман, измена, и не боится; но взрослый, который это знает, может научиться не быть побежденным ни изменой, ни обманом. Вспомните Христа: Он был окружен ненавистью – и никогда не отзывался ненавистью; Его старались обойти и обмануть, соблазнить, и Он с простотой и цельностью отзывался на все и никогда не допустил разочарования. Он не нуждался, чтобы Ему о человеке что бы то ни было говорили, Он Сам о нем знал все; но глубже, чем видимость более реально для Него, чем вещественная очевидность,

был **человек** иногда глубоко зарытый под обломками жизни. Он в этого человека верил, и в самом человеке умел возродить и воскресить эту веру. И когда дело дошло до измены, когда Иуда решил изменить, Христос ему сказал: *Друг, (другом назвал!) иди и делай то, что ты задумал...* Он не стал защищать Себя; Он Себя отдал. И потому что Он себя отдал до конца, с первого мгновения и до последнего Он был без страха; отнять у Него никто не мог ничего, потому что Он уже все отдал. *Никто у Меня не отнимает жизни, –* сказал Он Своим ученикам, – *Свою жизнь Я отдаю свободно...* Отдав ее, Он был бесстрашен; зная человека, Он не мог быть “разочарован”, потому что не был “очарован”; Он видел человека, каким тот есть, Он видел грех и грешника, и однако, глубже еще, чем изуродованность, Он видел образ Божий, который может в одно мгновение воссиять и возродиться. Мы должны научиться не невинности, которая с такой легкостью делает ребенка бесстрашным, доверчивым, открытым к любви, беспомощным, – мы должны от невинности перейти к святости, к той опытности, которая нас учит видеть вещи, какими они есть, видеть человека, какой он есть, и, однако, *во все верить, на все надеяться и иметь любовь, которая никогда не перестает.* Так говорит о любви, о надежде, о вере христианской апостол Павел. Беспомощность не страшна, когда ты отдал все; беспомощность страшна, когда у тебя могут отнять что бы то ни было; но отдавши себя и свое Богу и людям, не ставя условий, оставаясь только человеком, мы можем быть бесстрашны, доверчивы, истинны и правдивы, целостны и радостно-беспомощны. *Мы ничего не имеем, но всем обладаем,* – говорит апостол Павел, – ничего своим не почитаем, но Бог нам дает все. Мы богаты нашим нищенством, мы нищи – и многих обогащаем...

Вот этот строй ребенка, который изначально дается и потом теряется в течение жизни через то, что мы называем жизненным опытом, мы должны приобрести; потому что если мы его не приобретаем, мы остаемся изуродованными жизнью. О, иногда страшно опытными; порой – неуязвимо крепкими и защищенными; но – мертвыми. Жизни больше нет, любовь уже обусловлена, благодарность дается скучо, за что-то; она не делается ликованием души...

Так и в конце жизни. Когда мы вглядываемся в людей, которые сумели стареть, которые постарели, не обветшав, которые не износились, а стали тонки, прозрачны, мы видим то же самое: беспомощность. И вместе с этим, потому что эта беспомощность глубоко осознана, видим бесстрашие, доверчивость и благодарность за всякий признак тепла, любви, заботы. Когда до человека доходит беспомощность такая, что он

уже ничем себя не может защитить, он может или прийти в отчаяние, или стать свободным. Старик, который **сумел** постареть, именно делается свободным. И тогда открывается перед ним Царствие Божие, Царство любви, потому что самое его существование, условие, содержание этого существования зависят всецело от чужой любви, чужой заботы – Божией и человеческой равно: Божией через людей и непосредственно Божией, когда Господь Свое слово кладет в его душу, касается души Своей лаской, Своей благодатью. Мечется стареющий человек тогда, когда он хочет сохранить свойства юных дней – и не может их сохранить; когда он хочет удержать гаснущие силы, гаснущий пыл души, тускнеющую ясность ума, крепость, независимость, то есть, в конечном итоге, способность жить без любви, не завися от того, чтобы его любили другие люди или Бог любил. Пока человек старается сохранить пламенность, он может только отчаиваться о том, что это пламенность проходит. Один из французских писателей, описывая старика, говорит: виден огонь в глазах юноши, – виден свет в глазах старика...

Вот тот переход, который творчески может нас делать детьми, когда мы уже перешли грань детства; может помочь нам вернуться в детство не в дурном смысле этого слова, не “впасть в детство», а вернуться в Галилею, вернуться к весне, когда мы были просты, беззащитно-доверчивы, способны верить в любовь и любить и были благодарны за всё. И когда я говорю “за всё” мне кажется, надо это понять в самом сильном смысле этого слова: не только за то, что мы считаем благодеянием со стороны людей и со стороны Бога, а за всё, что Бог, люди, обстоятельства, судьба – назовите как хотите – вливают в нашу жизнь, все, из чего постепенно сплетается наша человеческая личность, все, благодаря чему мы вырастаем в меру *полного возраста Христова...* Быть благодарным за благодеяния явные, простые: доброе здоровье, успех в жизни, счастье – не трудно, казалось бы; но и тут мы не умеем быть благодарными, и тут нам кажется, что могло бы быть лучше. Мы не умеем благодарить от всего сердца, как ребенок благодарит за малый подарок, заполняющий всю его душу, все его сознание, потому что самое мелкое проявление любви для него есть Любовь, вся Любовь. Порой мы доходим до кощунства: жизнь нам не в жизнь, словно жизнь тогда только является жизнью, когда соответствует нашим желаниям. И мы вовсе не умеем благодарить за то, что Бог нам так доверил, так нам доверился, что Он **нас** при всей нашей хрупкости, всей нашей худости, посыпает в жизнь творить добро, посыпает в тьму, чтобы быть искрой света, свечкой, которую, собравшись против нее, не может погасить вся тьма мира; посыпает нас туда, где есть злоба, чтобы нести

любовь, где есть гнев – нести терпение, есть обезбоженность – чтобы через нас Бог мог войти в эту обстановку... Как мы редко благодарим за то, что Бог нас посыает в самые страшные, или просто тяжелые, или неприглядные обстоятельства, забывая, что, делая это, Он говорит: Я тебе доверяю, пойди, будь Моим присутствием, открой Мне путь, будь предтечей Моим или просто будь привратником, который хоть щель откроет или дверь распахнет, чтобы Я мог войти и принести тот мир, какого земля дать не может, который может дать только Бог излиянием Святого, Животворящего Своего Духа...

И как мы мало умеем благодарить за страшные обстоятельства! Есть рассказ Мартина Бубера о польском раввине 18-го века, который жил в голоде, в холода, в нищете, в обездоленности, оставленности – и каждое утро пел хвалу Богу, благодаря за все Его благодеяния. Как-то один из соседей к нему пришел и говорит: “Слушай, как ты можешь быть таким лицемерным? Неужели Бог может поверить в твою благодарность, когда Он знает, что Он ничего тебе не дал, ничего тебе не сделал, кроме зла?” И старик на него посмотрел и сказал: “Как ты мало понимаешь в жизни! Бог взглянул на мою душу и подумал: что нужно этому человеку, чтобы он вырос в полную меру свою? ему нужен голод, холод, нищета, обездоленность, оставленность; тогда он, обнаженный, лишенный и освобожденный, будет стоять перед Мной как человек, – и Он все это мне дал в таком изобилии, что я Его днем и ночью благодарю”. Да, эта мера благодарности, которая нам не по плечу, недоступна; но она нам говорит о том, что такое благодарность и что такое прозрение в пути Божии.

Все уходит, остается только одно, в конечном итоге: живое сердце, которое никто не может сделать мертвым, кроме нас самих; если мы его закроем, окаменим – да, оно будет лежать камнем у нас в груди. Но если мы его откроем, если в течение всей своей жизни с готовностью будем принимать всякую радость и каждое страдание, каждую скорбь, каждую боль, только не заглохло бы наше сердце, только бы оно не окаменело; если мы не будем бояться пережить боль и страдание до конца, если ни в какое мгновение мы не закричим: “Нет! Довольно!”... а скажем: “Господи, да будет воля Твоя...” – тогда наше сердце будет вспахано, станет глубоким, бездонным и чутким; и став чутким, оно станет любить безоговорочно. И тогда, по мере того как эта чуткость сердца будет расти, будет расти в нас и изумление перед Богом и жизнью и благодарность за все без остатка. Книга Откровения говорит нам о том, что в конце времен мученики встанут из гробов и воскликнут в один голос: *Господи, Ты был прав во всех путях Твоих!*.. Не напрасно лилась наша кровь, не напрасно

терзалось наше сердце, не напрасно рвали нашу плоть, не напрасно мы вошли во тьму; в сердце этой тьмы – свет Христов; Ты был прав, Господи; за все благодарим!..

Вот этого никто не может отнять ни у кого; и когда Серафим Саровский говорит: важно, что в начале и что в конце жизни, – мне думается, он об этом говорит. Ребенок в начале его невинности, нетронутости – как ясная заря, как ранняя весна. А затем годы, порой тяжелые годы испытания, когда предается пробе вся жизнь, все, что внутри человека. И в конце, если человек сумел жить не напрасно, не безумно, он остается только с тем, с чем он родился: со своей беспомощностью, своей доверчивостью, своей любовью, своей благодарностью. Таковых Царство Небесное – тех, кто стал, как дети. Но этому надо учиться изо дня в день, само это не случается. Когда человек прожил безумно, бессмысленно, когда он закрывал свое сердце, отталкивал своего ближнего, не подпускал к себе Бога, когда он замуровал себя в защищенность – стены не падут сами собой, сердце не растает без подвига и без предельного сокрушающего страдания; благодарность не родиться из горького нутра. Надо в течение всей своей жизни учиться тому, что Христос хотел этим сказать, что на опыте испытал и словом выразил Серафим Саровский: итог жизни – благодарность. Единственное конечное содержание жизни – любовь; все остальное пройдет. И не только в том смысле, который всем ясен: тело ветшает, силы уходят, ум слабеет, чувства притупляются, способности гаснут... А в том, что если у нас нет любви, то у нас нет ни понимания людей, ни понимания Бога, ни понимания жизни. Объективное, холодное понимание ума – не понимание: жизнь, поступки, людей, их строй можно разложить умом на составные части, но понять нельзя... Есть какое-то страшное, жуткое понимание у ненависти, страшная зрячесть у ненавидящего; но эта зрячесть не показывает тому, кто всматривается в другого, в Бога, в события злым взором ненависти, ни путей Божиих, ни образа Божия в человеке. Ненависть показывает карикатуру, изуродованность; она – ложь и клевета. Только любовь позволяет видеть – бесстрастно, прозрачно, видеть, приобщаясь через любовь к тайне того, что Бог нам показывает. В конечном итоге на земле путь – вера, надежда, на земле содержание жизни – постепенное рождение, возрождение потускневшей, поколебавшейся любви, и последнее ее содержание – любовь. И на пути все время, **всё время** – благодарение: благодарение за крест – и за избавление; благодарение и за оставленность – и за поддержку; благодарение за жизнь – и за смерть; за скорбь – и за радость. Не тусклое, скучное приятие горького и ликующее,

радостное приятие светлого, нет! А вдумчивое, благоговейное благодарение: *Дивен еси, Господи, во всех путях Твоих...* Да, Твои пути – не мои пути, но дивны Твои пути, Господи... Да, они – тьма, они – тайна; но они – пути жизни.

Этому учатся через то, что отцы Церкви называли *страхом Божиим*: это не боязнь перед Богом, не испуганность, а трепетное стояние пред Тем, Кто так велик, так свят, так непостижим, что, в конечном итоге, единственный к Нему подход – это трепетное доверие; единственное отношение, которое с Ним можно создать – это ликующая, трепетная, застенчивая радость о том, что на Него можно положиться – и все будет. Я могу не только верить и доверяться, – я могу это сделать с радостью, пусть робкой, которую мы называем надеждой; и когда опыт нам показал, что можно, на самом деле можно довериться Богу, на самом деле можно в самой сердцевине тьмы робкой радостью ожидать света, тогда рождается ласковая любовь и благодарность. Страх Божий – это то чувство, которое мы находим в святых, трепет перед Его величием, перед Его святыней, перед Его красотой, трепет перед Его любовью: как возможно, что Бог меня может любить!? Господи, какое это чудо! как может Он меня любить! И если Он меня любит – ни за что, по любви, что я могу сделать, чтобы выразить свою благодарность за это, свое умиление перед этим? *Что воздам Господеви о всех яже воздаде ми?..* Что я могу сделать, чем Ему выразить свои чувства о том, что Он сделал для меня?.. *Чашу спасения приму, имя Господне призову; хвалу воздам Ему во дворех Его,* – говорит псалом. Сверх всех даров приму еще больший и только буду петь свою благодарность и свою любовь.

Страх Божий несовместим с любовью, если о страхе думать как об испуге или о боязни; но тот страх, который святые называют *сыновним*: как бы не огорчить, как бы не обмануть, как бы не разочаровать любимого – рождается от нарастающего опыта, от нарастающего знания Живого Бога – и людей, потому что это неотрывно связано: нельзя любить Бога и ненавидеть людей... *Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал для спасения каждого.*

Подумайте над этим, а потом соберемся на общую исповедь, помолимся вместе. Мы грешим каждый врозь, как бы одиноко; но мы грешим друг против друга, а не только перед Богом. И все вместе мы грешим тем, что не являемся в этом мире истинным телом Христовым, и люди, взглянув на наше общество, не видят в нас Божественной любви, не находят среди нас спасения. Поэтому мы должны каяться и врозь, и вместе. Но сначала помолчим, не будем друг другу мешать готовиться к

исповеди. И будем радоваться, что Господь нас собрал. Потому что **действительно** Бог нас собрал Своей любовью, дал нам хотя бы малый зачаток взаимной любви, взаимного доверия, желания стать Христовыми. Будем это беречь, и пусть милость Божия будет с нами.

О МОНАШЕСТВЕ

Я приступаю к беседе о монашестве с большим внутренним трепетом, потому что, перечитывая службу пострига, с такой мучительной ясностью вижу, что после пятидесяти лет я еще не приступил к тому, что обещал когда-то, принимая монашество. Поэтому я буду говорить о том, что представляет собой монашество, помня, что человек *от слов своих оправдается и от слов своих осуждается* – и не только от слов, но и от жизни; помня, что знание только прибавляет нам ответственности и вновь и вновь требует от нас исправления, покаяния, вступления заново в ту жизнь, которую мы когда-то увидели перед собой и которую большей частью осуществить не сумели.

Говорить о монашестве в отрыве от размышления о браке невозможно. Я вскоре объясню, почему так, но это очень важно помнить, потому что иначе монашество представляется в Церкви как путь особенный и каким-то образом оторванный от самой сущности Церкви, будто он – не один из аспектов церковности, а исключение. Что это не так – легко себе представить, если задуматься над тем, как монашество зародилось, с чего оно началось.

Пока Церковь была гонимой, монашества в ней не было. Все верующие стояли перед угрозой пыток, смерти, мученичества. Если мы вспомним, что слово, которое мы переводим “мученичество”, на греческом языке значит “свидетельство” (которое может проявляться и в слове, и в красоте жизни, но и в готовности эту жизнь отдать во свидетельство Христу), то легко понять, что когда прекратились гонения, перед Церковью стал вопрос о том, как идти героическим царским путем. Это стало особенно трудно тогда, когда Церковь не только перестала быть гонимой, но была принята Византийской империей, когда христианство стало верой императора и, значит, его окружения, которое следовало его примеру, не всегда следя его обращению. В тот момент в Церковь влились толпы людей, которые слегка или даже с какой-то глубиной уверовали во Христа, но во время гонений в Церковь не вступали; те, которые были готовы войти в Церковь тогда, когда она стала “образом жизни”, но не путем на Голгофу. Это исторически верно. Отец Георгий Флоровский говорил, что когда прекратилось мученичество, началось монашество: люди героического духа, которые не могли примириться с разжиженным, ослабленным христианством, стали уходить – не от мира, не от гонителей, не от язычников, а именно от христианской общины,

которая одебелела и перестала быть телом Христовым, распятым ради спасения мира, как, в ответ на мой вопрос, определил Церковь патриарх Алексий (Симанский; † 1970. – Ред.) Они уходили в пустыню для того, чтобы бороться со всем злом, какое видели в себе, они шли на противоборство с бесовской силой, с человеческой немощью, они шли в пустыню для того, чтобы оставаться лицом к лицу с собой и в себе побеждать зло, – не только ради себя самих, но ради всего мира, потому что зло, побежденное в одном человеке, уже уменьшено в масштабе всей вселенной. Так же как если человек зажжет хоть маленькую свечку во тьме вселенной, та становится чуть менее темной. Хотя, может быть, никто этого не замечает, эти лучи хоть малого света пронизывают ее до предела.

И вот, люди уходили в пустыню, стояли перед Богом, углублялись в видение себя самих; и одновременно через молитву, через внутренний подвиг, через постоянное предстояние Живому Богу они познавали все глубже и глубже своего Творца, своего Бога, своего Спасителя. И познавая Его, видя в Нем беспределную красоту, совершенную, истинную правду, свет немерцающий, они по контрасту видели себя и смирялись – не потому что своими человеческими глазами видели себя во грехе, а потому что, стоя перед лицом Бога, созерцая Его красоту, они познавали свое недостоинство, и поклоняясь Богу, они одновременно научались предельному смирению.

Это только один из аспектов проблемы, это исторический аспект, то, как появилось монашество. Но монашество оставалось бы уделом личным, частным, исключительным, если бы оно не оказалось выражением сущности Церкви с определенной точки зрения. Читая Евангелие и послания апостольские, мы видим, что Церковь, то общество человеческое, которое верой, надеждой, любовью соединено со Христом, описано в целом ряде мест образами брачного пира, то есть соединения Бога со Своей тварью в ликовании, – в ликовании любви Божией и в ликовании человеческой благодарности и преклонения перед **Таким** Богом. Мы можем найти в Священном Писании несколько притчей о Церкви как о браке. Но есть другой образ Церкви, который выражен очень короткими словами: Церковь – это Невеста Христова, готовая идти за своим Женихом, куда бы Он ни пошел. Невеста – та, которая возлюбила жениха всем своим существом, для которой никто не существует наравне с возлюбленным. Святой Мефодий Патарский говорит, что, пока юноша не полюбил девушку, он окружен мужчинами и женщинами; когда он кого-то полюбил, у него есть невеста, а вокруг него только люди. Это верно,

конечно, и в обратном направлении, в отношении невесты и жениха. Этот путь и есть путь монашеский. Этот путь заключается в том, что какие-то люди, какие-то души так возлюбили Бога, что ничего не осталось в мире настолько дорого, чтобы оторвать их сердце, их мысль, самую жизнь их от Бога, возлюбившего их всей жизнью и смертью Христа. Это люди, которые готовы идти за Христом, куда бы Он ни шел. И мы знаем путь Христов. Мы знаем, что путь Христов – это путь на Голгофу, это путь на распятие ради спасения мира. И очень важно помнить, что распятие монашеское, как и распятие Христово – не личный подвиг о спасении своей собственной, как бы обособленной, души, это подвиг всецерковный, это участие в спасении мира.

Лет семьдесят тому назад на Валааме жил послушник Николай: старик, более пятидесяти лет проживший в Валаамском монастыре и никогда не ставший монахом, не принявший пострига. Мой духовный отец, тогда только поступивший в монастырь, его как-то посетил и поставил ему вопрос: почему, живя монашеской жизнью, не имея ничего, кроме этой жизни, ты не принял пострига?.. И Николай со слезами ему ответил: Я еще не могу принять пострига, я не научился сострадательному плачу о всей вселенной... Это очень важное слово; потому что слишком легко нам думается, что монах – это человек, который уходит от всего ради спасения собственной души. Разумеется, и такие бывают монахи, и разумеется, что участие в спасении мира не может пройти мимо спасения собственной души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою, жизнь свою сделает напрасной? Но оба пути сливаются в одно.

Но если действительно монашество и тайна брачного пира представляют собой два неотделимые друг от друга аспекта Церкви, тогда нам надо задуматься над тем, что между ними общего и что их разделяет.

Когда человек принимает монашеский постриг, первый вопрос ему ставиться о готовности, вступив в монастырь, никогда из него не выйти. Можно, конечно, это понимать как вопрос о физическом уходе за пределы монастыря, но речь здесь идет о чем-то гораздо более глубоком. Речь идет о том, что человек не может принимать монашество, не может войти в ту духовную и душевную устойчивость, которая нужна для монашества, пока он не понял, что если он Бога не найдет **здесь**, то незачем Его искать где бы то ни было, он Бога все равно нигде не найдет, потому что Бог не находится тут или там. Бога находят в глубинах собственной души, когда через молитву, через подвиг, через голод о Боге доходят до самой встречи с Живым Богом. Поэтому первое условие, которое ставится монаху – именно вопрос об этой устойчивости. Пойми, знай, что искать Бога где бы

то ни было незачем; если Его здесь для тебя нет – нигде Его нет для тебя... Это значит, что если твое сердце, твой ум для Него закрыты здесь, то лишь закрытое сердце и закрытый ум ты унесешь в любое место, куда пойдешь в поисках Бога.

Чисто практически это, конечно, относилось к вступлению в ту или другую общину с обязательством оставаться в братском общении и под руководством духовника общины. Но ранние общины не были ограничены стенами монастырей, это были группы людей, собравшихся вокруг наставника и не искающих иного. Но для того, чтобы осуществить такое состояние, такую устойчивость внутреннюю, они связывались тем, что мы называем монашескими обетами, которые, в сущности, производны; они – условия, позволяющие человеку неколебимо стоять перед Богом, не ища Его нигде, кроме как в глубинах своей души, которых касается Сам Христос. Это обеты послушания, нестяжательности и целомудрия.

Я хочу о них сказать несколько подробнее, потому что эти слова русские, нам привычные, и мы не всегда задумываемся над тем, что за ними кроется.

Послушание мы видим в описаниях жизни святых. Мы видим, как послушник, ученик того или другого старца, наставника, выполнял безропотно, не ставя под вопрос, что бы старец ему ни приказывал, даже вещи, которые кажутся нам совершенно бессодержательными, абсурдными. Он выполнял их, не задумываясь, зная в глубинах своей души, что за тем, что ему приказано, повелено, кроется цель, и что он может вырасти за пределы самого себя, только если отдастся на волю старца. Нам часто кажется, что послушание заключается в том, чтобы исполнять чужие веления безропотно, – сначала без внешнего ропота, затем и без внутреннего. Это не сразу дается. Есть рассказ о том, как старец дал приказание монахам из своего окружения издеваться на новопришедшем, которого он ценил и которого хотел воспитать до предела его возможностей. Когда тот пришел в церковь, над ними стали издеваться, выгонять: “Как смеешь ты, каков ты есть, вступить в храм Божий?” Он ушел. Старец его спросил, что он почувствовал. – Я почувствовал гнев и его выразил грозными ругательствами и словами... Через неделю повторилось то же самое. Но послушник всю неделю раздумывал над тем, что над ним совершали и что в нем самом происходило, и когда снова случилось то же самое, он, выйдя из храма, ответил на вопрос старца о его состоянии: я разгневался, но смолчал... И когда в третий раз это случилось, он старцу ответил: я смолчал и не разгневался...

Это пример того, как человек может постепенно прислушиваться к таинственному ходу действий своего старца и перерости самого себя. Но послушание не заключается только в том, чтобы слушать или услышать то или другое веление и его исполнить – сначала с натугой, а затем с доброй волей, а затем с радостью. Послушание заключается в том, чтобы научиться всем своим существом: и умом, и сердцем, и волей, и даже телом своим – слушать того, кто говорит. Цель послушания конкретному живому человеку, в конечном итоге, заключается в том, чтобы научиться слушать голос собственной совести и слушать голос Бога, звучащий в Евангелии, звучащий в глубинах души в молчании, в молитве, в тишине. Поэтому послушание заключается первым делом в том, чтобы человек был готов всем своим существом вслушиваться в слова, взглядываться в действия избранного им, принятого им наставника, которому он может внутренне так приобщиться, чтобы перерости самого себя, вырасти в меру своего наставника, а порой выше этой меры. Это мы видим из жизни святых; они воспитывались в монастырях под руководством добрых наставников, которые сами не вырастали в ту меру святости, какой достигали их ученики. Поэтому монашеское послушание является сначала школой, а потом такой открытостью, таким внутренним безмолвием, которое позволяет слышать Бога, и опять-таки, перерости себя и влиться в тайну общения с Живым Богом. Другими словами, можно сказать, что через послушание человек постепенно вырастает к тому, что так дерзновенно выражает апостол Петр, когда говорит, что мы призваны стать *причастниками Божественной природы*, сначала приобщиться благодати, то есть пронизаться Божественным присутствием, Его энергиями, и затем стать Богоподобными, живыми членами тела Христова. Мы – не только место вселения Святого Духа, потому что мы больше, чем сосуд, просто содержащий святыню, – мы делаемся сосудом, который сам пронизан святостью.

Нестяжательство не зависит от бедноты. Можно ничем не обладать – и всем своим существом мечтать о богатстве, о том, чтобы владеть чем-нибудь. Нестяжательство заключается в том, чтобы ни к чему не быть привязанным и ни от чего не зависеть. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что научился жить и в бедноте и в богатстве, научился тому, чтобы ничто им не обладало. Все, чем мы как будто обладаем, нас порабощает и делает рабами. Я много раз говорил об этом, но повторю сейчас. Вы все помните притчу Христову о призванных и избранных, о том, как царь учредил пир по случаю брака своего сына и призвал своих друзей. Первый сказал: не могу идти к тебе, я купил участок земли, мне

надо его исследовать... Это человек думал, что участок ему принадлежит; на самом деле **он** принадлежал этому участку, потому что не мог оторваться от него, он как бы корни пустил, не был свободен уйти, ему надо было оставаться и осмотреть этот участок. Другой сказал: я купил пять пар волов, мне надо их испытать... Он тоже думал, что обладает этими волами, на самом же деле волы им обладали. Подумайте, каждый, что в нашей жизни может быть таким обладанием. У каждого есть задача в жизни, такая (как нам кажется) важная, что всё должно ей уступить; мы не можем оторваться от работы, призыва, которое представляется целью, содержанием всей нашей жизни; мы не можем идти к Богу Самому, потому что, как нам кажется, мы делаем Божие дело ... Как это страшно!.. Третий сказал: не могу прийти на брак твоего сына, – я сам женился, мое сердце преисполнено собственной радости, в нем нет места для того, чтобы разделить твою радость, радость жениха и невесты... Вот это образ того, как можно быть порабощенным, считая, будто сам обладаешь тем, что тебя держит пленником.

В конечном итоге этот вопрос о нестяжании сводится к первой заповеди блаженства: *Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное*. Кто такие эти “нищие духом”? Это те, которые всем своим нутром поняли, что они всецело зависят от любви Божией. Они были сотворены без спроса, односторонним действием Бога, призвавшего их к бытию для того, чтобы Себя Самого отдать им всецело – как жизнь, как радость, как вечность. Это те, которые поняли, что самая жизнь, в них действующая – это Божественное дыхание, которое им было дано, что у них нет собственной жизни, которая принадлежала бы им, это дар. И дальше – это те, кто знает, что не они нашли Бога, а Бог их обрел, Бог им открылся, Бог их призвал, Бог их возлюбил всей жизнью и всей смертью Единородного Сына Божия, ставшего сыном человеческим. Они знают, что **всё** в жизни – дар Божий, все, чем они богаты – дар. Дружба – дар, любовь родителей – дар, любовь жениха и невесты – дар друг другу, и так далее. И это так дивно! Если бы что-нибудь принадлежало нам, оно было бы вырвано из тайны любви. Все, что я мог бы назвать своим, не было бы даром ни человеческой, ни Божественной любви. И потому только те, кто поистине, до самых глубин стал нищ духом, живут в Царстве Божием, в Царстве, где Бог является Царем, ими избранным, ими принятым, ими возлюбленным, от Которого всё, что у них есть, всё, что они собой представляют. Это поистине область Божественной любви. И потому нестяжательство не заключается только в том, чтобы того или другого не иметь, а в том, чтобы постепенно вырастать в это состояние нищеты

духовной, где всё является любовью, даже самые простые, незатейливые вещи. Я помню, как отец Александр Шмеман как-то сказал, что всё на свете, всё в жизни – это Божественная любовь; даже пища, которую мы едим, это Божественная любовь, ставшая съедобной. Да, сказано полуслутильво, но действительно и это дар Божий.

И наконец – целомудрие. Это понятие сложное. Целомудрие – состояние того, кто достиг такой цельности духовной, такой мудрости внутренней, которая не дает ему отклониться от Бога, отклониться от чистоты, отклониться от всего человеческого величия, то есть от служения в себе самом образу Божию. Целомудрие начинается в момент, когда, обнискав сам, я смотрю на своего ближнего с благоговением: он – Божий образ, он – икона, он для меня – святыня. Не он призван мне служить, а мне дано Богом видеть в нем икону, образ, и послужить становлению этого человека: становлению его из состояния образа в состояние живого, действующего, победного подобия. Целомудрие, цельность духовная означает новое отношение с Богом, новые отношения с собой, новые отношения с окружающими людьми и с окружающим миром. В отношениях с Богом это означает конец разделенности; по отношению к себе это значит то дерзание, которое нам позволяет жить не поверхностно, не слегка, а жить вдумчиво, глубоко, жить всей – порой страшной и всегда опасной – глубиной своей жизни и своей души; по отношению к людям это значит жить глубинно, встречать людей не только поверхностно, и не сводить все отношения к самому себе, а жить так, чтобы прозревать глубины людей, говорить этим глубинам слово жизни, охранять эти глубины от соблазна, от зла, от разрушения.

Это тесно связано со смирением. Смирение – состояние человека, который в мире с Богом, со своей совестью, со своим ближним, со своей судьбой и даже с теми вещами, которые его окружают. Как говорит святой Исаак Сирин, никто не может молиться чистой молитвой, кто не примирился с Богом, с совестью, с ближним и с теми вещами, которых он касается и которыми пользуется, потому что и они – Божие творение, и к ним тоже надо относиться благоговейно. В этом отношении целомудрие и смирение идут рука об руку.

Латинское слово *humilitas*, которое именно и переводится “смирение”, происходит от слова *humus*, что значит “плодородная земля”. Святой Феофан Затворник говорит об этом в одном письме следующее: Подумайте о земле, – она безмолвно лежит перед лицом неба, она открыта и небу и сиянию солнца, и дождю; больше того: по ней ходят, ее топчут; хуже того: на нее льют помои, грязь, и она безмолвно пред лицом неба

лежит, все принимая и из всего принося плод, обогащенная тем, что дается и небом и землей...

Вот короткий очерк того, что я мог бы сказать о монашеских обетах. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что эти обеты, которые так ясно, ярко выражены в службе пострига, являются также руководящими звездами брачной жизни. Монах обязуется к совершенной, непоколебимой устойчивости; в брачной жизни это называется супружеская верность. Монах обязуется научиться слушать всем существом голос, звучащий рядом; в браке оба супруга призваны так друг другу внимать, так быть друг к другу обращенными, так совершенно забывать себя самих, чтобы вслушиваться друг в друга, слышать и невысказанное слово, воспринимать самую рябь, которая проходит по душе другого человека. Это послушание самое истинное, потому что в нем – тот отказ от себя самого, о котором говорит Спаситель Христос: Если вы хотите следовать за Мной, если хотите быть Моими учениками, *отрекитесь* от себя, то есть отвернитесь от себя, оторвите от самих себя взор, внимание, и обратите на Меня, Живого Бога, и на ближнего своего; он – образ Мой, икона. Живая икона, которая к тому же обращается к вам с мольбой о внимании, о любви, о заботе, о сострадании, о жалости, о радости... Если думать о целомудрии, разумеется, целомудрие в браке является ярким, четким выражением верности. Это цельность души, это цельность ума, это цельность всего человека. Апостол Павел и другие духовные писатели говорят о прелюбодеянии. Прелюбодеяние не начинается в момент, когда телесный грех совершается. Прелюбодеяние совершается тогда, когда душа отворачивается от любимого и обращается на что бы то ни было, что находится вокруг. И наконец, нестяжательность в браке, конечно, не заключается в том, чтобы ничего не иметь, потому что в браке человек обязан заботиться о своем супруге, о своих детях, о своих родителях; нестяжательство заключается в том, что чтобы ничем не обладать для самого себя, чтобы любое наше обладание скользило через наши руки, как дар тем, которые нас окружают.

И надо помнить (это будет последнее мое замечание; простите, что я говорил долго, но мне кажется, что это важно раз и навсегда выразить), что и в браке есть трагическое, подвижническое измерение, когда человек должен себя побороть, побороть свою узость, раскрыться, победить силой и благодатью Христа; и в монашестве есть обратная сторона: ликование о том, что мы любимы Богом и что при нашем недостоинстве, при нашей хрупкости, при нашей греховности, нам дано любить Бога той любовью, на которую мы способны, и отвечать лиющей благодатью на то, что Он

умеет **нас** любить, какие мы есть, не ожидая, чтобы мы стали святыми, а любя нас в немощи нашей. Он любит нас, как садовник, который бережно заботиться о хрупком ростке, защищая его от всего, что может его погубить, с тем, чтобы этот росток окреп и стал всем, чем он может стать. И поэтому мы должны помнить, что в монашестве есть суровый подвиг – но и ликование, и в браке есть ликование – но и подвиг.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У старца Силуана есть очень интересное место. Как ни парадоксально, он говорит, что с его точки зрения статус монашества меняется, оно не будет оставаться в той прежней форме, каким оно было на протяжении столетий, оно будет принимать новые формы. В частности, он называет ученое монашество. Как Вы считаете: действительно ли монашество меняется, и если да, то в какую сторону, и с чем это связано?

Если думать о монашестве как о таком состоянии, когда человек от себя отрекся до предела, подвижнически, с готовностью умереть и, если нужно, то и физически свою жизнь отдать для того, чтобы служить Богу при любых обстоятельствах, быть посланником Божиим в любой обстановке, то можно себе представить, что монашество может менять свой облик. Есть письмо опять-таки святителя Феофана, где он говорит (еще тогда, до революции), что приходит время, когда рассеяны будут монастыри, и монахи будут жить среди людей незамеченными, не узнанными, но во всех отношениях будут нести на себе печать монашества, нести монашеский подвиг отречения и нераздельной любви к Богу. Поэтому речь не идет о том, чтобы один только образ жизни представлял собой подлинное монашество, речь идет о том, чтобы **суть** монашества была осуществляема в душе и в жизни человека. Конечно, очень легко обмануться и считать себя ангелом на земле, тогда как ты не прошел настоящей школы послушания, школы целомудрия, школы нестяжательства, школы той устойчивости, о которой идет речь; это не дается сразу.

Тот же Феофан Затворник где-то рассказывает, как он сам постепенно должен был научиться этой устойчивости. Мы знаем, до какой степени он был углублен в молитву, соединен с Богом, еще будучи священником, преподавателем, затем епископом, был подлинно подвижником. Он от всего этого отказался, ушел в монастырь. Оказавшись в монастыре (пишет он), он вдруг почувствовал, будто он в тюрьме, стены монастырские закрывают ему те русские просторы, которые он привык видеть. И тогда он решил постепенно приучить себя ограничивать свой кругозор. Он

решил никогда не выходить за пределы монастыря, но вначале он поднимался на стены монастыря и глядел вдаль, потому что без этого он еще не мог жить. Потом он привык к более тесной жизни: не потому что привык быть “пленником”, а потому что он ушел в себя глубже, и он себя приучил ходить только в церковь, в монастырскую библиотеку и на послушания. Постепенно он еще глубже в себя ушел, и кончилось тем, что он ушел в затвор и двадцать девять лет прожил в одной комнате. И он замечательно говорит: когда он вошел в себя, жил в своем сердце, эта комната оказалась слишком просторна, ему не нужно было столько квадратных метров вокруг себя, потому что он весь жил внутри себя. То, что он называет “внутрь-пребывание”, было им достигнуто. Но не надо воображать, что этого можно достичь, просто заперев дверь и закрыввшись от мира. Человек, который заключен в тюрьму, не является затворником, потому что он рвется наружу; вся его мысль, его сердце вне этих стен; это совершенно иное дело.

Разнообразные пути монашества мы видим с самого его начала; и в пустыне были и отдельные пустынники, были и общежительные монастыри, были маленькие группы монашествующих вокруг того или другого наставника; были такие, которые уходили от всех, и такие, которые принимали всех. Есть рассказ о том, как авве Моисею ставили вопрос, почему он свою келью поставил на пути паломников, – разве они ему не мешают? – Нет, когда паломник ко мне приходит, я вижу Христа, Который стучится ко мне в дверь, и я его упокоеваю, даю ему отдых с тем, чтобы он шел дальше... Подобный же вопрос поставили Арсению Великому: почему ты ушел в пустыню так, чтобы никто до тебя не мог дойти? – Он ответил: на небе у тысяч ангелов и архангелов единая воля, а на земле у десятка людей столько же волеизъявлений. Я не могу оставаться цельным в своей воле, если меня раздирают воли разных людей... Вы знаете, что он был когда-то наставником императорских детей, и ушел в пустыню. Как-то к нему в пустыню пришла одна из veryмокных женщин, которую он знал еще в Риме, и просила наставления. Он ее спросил: ты обещаешь исполнить любое послушание, какое я тебе дам? – Да, отче, обещаю! – Так вот: если услышишь, что Арсений в одном месте, уходи в другое... Вот его установка была. Я сейчас не защищаю его и не выражаю свое мнение, я просто говорю: вот установка одного из самых великих подвижников монашества в Египетской пустыне. И мы видим в течение всей истории людей, которые вели совершенно различный образ жизни, но у кого мы находим ярко выраженными те свойства, которые я попробовал представить. Я эту жизнь знаю только

понаслышке, по чтению, во мне этого страшно мало есть, я не могу говорить изнутри своего опыта, но вот то, чему меня другие научили, что мне другие люди говорили, и вот почему я это представил вам.

Каким образом соотносится частная молитва подвижника с молитвой общины? Какое значение имеет молитва общины для молитвы подвижника-затворника?

С одной стороны, были подвижники и в древности и в более поздние времена, в частности – юродивые, которые молились в одиночку, в совершенном одиночестве и в совершенной оторванности физической, вещественной от окружающего мира стоя перед Богом. Это совершенно не значит, что у них не было общения. Серафим Саровский, например, был в затворе – и одновременно молился и за весь мир и за отдельных людей, нужду которых Бог ему открывал. То есть это не было одиночество в нашем понимании: будто он заперся и ни о ком больше не знает, ни о ком больше не слышит. С другой стороны, выражаясь языком Самарина, Церковь это организм любви. Собравшаяся община – это община людей, видящих друг во друге живую икону Христа, к которой они относятся с благоговением, с трепетом и молитвенно. Поэтому общая молитва является молитвой тела Христова, то есть Христова присутствия в среде этих людей, которые в себе носят какую-то печать самого Спасителя Христа. Но одно не отрывается от другого. Есть такие подвижники, которые в одиночку молились, есть такие, которые создавали общины, где все молились вместе. И есть скитское житие, например, преподобного Нила Сорского. Вокруг него было двенадцать монахов, каждый жил целую неделю в своей келье и молился в одиночку, и раз в неделю они собирались на совершение литургии, где они были едины как тело Христово, совершали службу, которую, в сущности, совершает Сам Христос и в которую они вливались.

ГЛУБИНЫ ВЕЧНОСТИ

В этот раз мы начнем наше говорение как бы с предварительной, подготовительной беседы.

Есть вещи, которые приходится повторять, потому что они такие важные; одна из таких вещей – смысл слова “говорение”. Говорение, в сущности, значит “внимание”; говорить это значит хоть на непродолжительное время стать внимательным: к себе, к жизни, к путям Божиим. В одной из своих молитв святой Иоанн Златоуст говорит, что первый грех, причина многой неправды в нашей жизни, личной и общественной, в том, что мы живем невнимательно. Мы живем, если можно так выразиться, как легкомысленные туристы, которые проходят через жизнь, окидывая взором то, что им попадается на пути, но не останавливая внимательного взгляда ни на чем, не вглядываясь ни во что. Разве это не так? Большей частью мы живем, словно в нашем сознании мы пишем только первый набросок жизни: зачеркиваем, перечеркиваем, переписываем – все не так, все не точно, все предварительно. Мы будто воображаем, что придет какой-то момент, когда можно будет сесть, все продумать и уже окончательно писать ту повесть, которая составляет нашу жизнь. И этого не бывает никогда, потому что к тому, что написано раз, уже не вернешься; то, что недосказано – не будет досказано, что недоделано – потом не сделаешь.

И потому апостол Павел говорит: *Дорожите временем – дни лукавы...* То есть: время обманчиво, не воображай, что впереди есть время. Не в том смысле, что завтра – а то и сегодня – ты умрешь, а в том смысле, что время каждому из нас будто говорит: Не спеши! Успеешь... Успеешь исправить жизнь, успеешь в нее вдуматься и осознать, успеешь **всё** сделать, чего ты сейчас не думаешь сделать, или то, о чем ты мечтаешь в полудремоте жизни: каким ты был бы в иных обстоятельствах, как бы ты поступил великодушно, достойно, правдиво, как мужественно, а порой героически поступил бы... И обо всем этом мы мечтаем, но в жизнь не претворяем, потому что мы **невнимательны** к тому, что настоящая, конкретная жизнь собой представляет. А говорение – это время, когда мы **должны** заставить себя быть внимательными хоть ненадолго, хоть на несколько часов, – пусть это мало по сравнению с целой жизнью. Мы должны быть внимательными и всмотреться во все, что составляет жизнь, в себя самого, в окружающих людей, в обстоятельства жизни; в свою оценку себя, людей, обстоятельств; всмотреться серьезно, правдиво не для того, чтобы найти

себе успокоение или уют, а для того, чтобы найти правду.

Древний писатель сказал, что познать людей – это знак мудрости; но знак предельной мудрости – познать самого себя. И вот в течение нашего говения мы должны взглянуться в жизнь не поверхностно, а глубоко. Я часто употребляю это выражение “жить глубоко”, “вглядываться вглубь вещей”, и недавно мне был поставлен – с укором – вопрос: что это значит? Не пустое ли это слово? Не легкое ли это слово? Что в этом слове содержится, что под ним кроется?.. И вот я немножко разъясню, что я этим хочу сказать.

Основной грех наш, основная наша греховность в том, что мы скользим по поверхности вещей. Это сказывается в том, как мы относимся к событиям, – самым простым или самым значительным событиям мировой жизни. Мы на них смотрим только с одной точки зрения: как они отразятся на моей личной жизни? что со мной будет?.. Это поверхностно. В центре истории мира стоит Христос; вся история мира, и в великом, и в том, что нам кажется незначительным, – это борьба правды Божией с неправдой человеческой; это время, когда Господь прокладывает Свой путь к каждой отдельной душе, прокладывает Свой путь к совершению, к завершению истории, к тому времени, когда свет восторжествует над тьмой, правда над неправдой, жизнь над смертью, добро над злом. А мы на все смотрим, словно все, будь то малое, будь то великое, сводиться к одному: что **со мной** будет?.. В какие-то созерцательные моменты мы поднимаемся над этим состоянием, задумываясь шире, чем наш собственный малый горизонт, но ненадолго...

В наших отношениях с людьми та же самая поверхностность; как редко в нас хватает мужества, чтобы встретить человека лицом к лицу. Отец Лев Жилле в одной из своих книг пишет: как нерешительно мы смотрим друг другу в глаза!.. И он это объясняет тем, что когда ты смотришь кому-нибудь в глаза, через свой взор ты открываешь и ему глубины своей души. И этого мы боимся больше всего: как бы кто не заглянул в те глубины, в которые мы сами боимся заглянуть, от которых мы отворачиваемся – не потому, что они содержат в себе столько зла, а потому, что нам страшно то, что там можно найти. И когда мы слушаем друг друга, когда мы скользим взором по чужому лицу – как редко мы это делаем с желанием услышать и увидеть. Потому что услышать по-настоящему – это значит не только на мгновение, но навсегда с этим человеком **встретиться**. По русскому присловью, встречаются раз, но навсегда. Когда мы встретили человека всерьез, глубоко, то это действительно на всю жизнь, даже если мы никогда больше не встретимся.

Мы наложили печать на человека, и **он** наложил на нас печать, и этой печати не снять. И это бывает страшно; страшно бывает задать вопрос и услышать ответственно, по-настоящему ответ, потому что в этом ответе не только слова, в этом ответе порой **крик** отчаянного человека, в его голосе раскрывается его нутро; и там мы можем встретить больше, чем способны понести. Не только ненависть, не только зло нам страшны, нам страшна бывает и любовь: как справиться с человеческой любовью? Как справиться со всем тем, что живет в человеке, что в нем бурлит, что представляет собой человека в становлении, человека, несущего в себе хаос, из которого Господь вызывает все возможности? Страшно... Мы хаоса боимся, мы всегда стараемся хаос искусственно упорядочить: если бы только можно было заморозить море, чтобы не было волн!.. Так мы относимся к той буре, которая бывает в человек – благодатной буре, или бесовской, или просто человеческой, многострадальной, творческой буре... Как редко мы умеем слушать так, чтобы услышать и отзываться всем существом, каков бы ни был риск, чего бы это не могло нам стоить... Больше частью мы очень осторожны: слушаем так, чтобы выбрать то, на что мы готовы отзываться, и оставить в стороне все прочее. А это “прочее” именно и составляет жизнь другого человека; то же, что мы с этого человека собираем, как ягоды с куста, это то, чем мы можем воспользоваться, или что не может нас испугать, никаким образом не может, как нам кажется, нам повредить.

И так же мы относимся к самим себе: как легко жить на поверхности нашей жизни; как легко прожить, переходя от одной заботы к другой, от одного дела к другому, от одной встречи к другой, от книги к газете, от разговора к хозяйственным занятиям. И никогда мы не оказываемся лицом к лицу с самими собой; или так редко... А когда это бывает, становится порой так страшно: что будет, если я открою эту дверь? Что за ней кроется?.. Мы все знаем, чувствуем, что под поверхностью есть тайна, что в этих глубинах кроется вся наша судьба, и боимся заглянуть туда. Перед исповедью мы заглядываем в какую-то относительную глубину; мы стараемся определить, что в нас есть дурного, позорного. Но это все – в плане наших отношений с Богом или с людьми, а мы должны заглянуть глубже этого: потому что наши слова, наши поступки – как листья, как цветы, как плоды на дереве, но не само дерево, не его существо. Правда, по плодам и дерево можно узнать, но не все о нем.

И потому что мы живем поверхностно, потому что мы даже в свою тварную глубину боимся заглянуть, мы так редко доходим до той глубины, где живет Бог, где таится все Царство Небесное. Святой Ефрем Сирин

говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в его глубины все Небесное Царство, и вся задача жизни заключается в том, чтобы рыть вглубь и дойти до этого сокровища. Мы не можем встретить Бога в поверхностных отношениях с людьми, с событиями, с самим собой, потому что Бог поверхностно не живет. Любовь Божия такова, что по любви к нам Христос всю жизнь и всю смерть Свою отдал, подарил каждому из нас, лишь бы мы спаслись. Бог есть Бог строя, гармонии, красоты; но Он живет и действует также и в буре, и в ужасе нашего мира. И пока мы своей волей выбираем жить безопасно, не встречаясь лицом к лицу с ужасом или с красотой, то мы и мимо Бога проходим.

И говение (повторю еще раз) – это момент, пусть короткий, когда мы должны сделать попытку, хотя бы непродолжительную, сидеть и молчать, сидеть в тишине этого храма, поставить перед собой вопрос: за один день часто ли бывает, что я с глубиной живу, всей силой души, принимая на себя всю ответственность жизни и весь риск, связанный с этой ответственностью?.. Мы все окружены людьми; поставим себе вопрос: что я знаю – не о поверхностной жизни, а о внутренней жизни самых мне близких, родных людей – отца, матери, сына, дочери, жены, мужа, бабушки? Что я знаю о том, чем живет, чему радуется, о чем горюет человек, который в соседней со мной комнате? Могу ли я вспомнить черты его лица?.. Большей частью нам придется ответить: нет! Даже черты его лица не могу припомнить, потому что никогда в них не вглядывался, а только скользил взором; скользил, потому что мне достаточно отличать одного человека от другого; а что в нем содержится, что это лицо говорит, что говорят глаза – мне не важно...

А потом попробуем оглянуться и на себя и спросить себя: а себя я сколько-то знаю? или давным-давно забыл?.. В ранние, детские годы мы, пожалуй, что-то о себе знаем, потому что не скрываем от себя почти ничего; а потом мы закрываем **столъ** многое! Некоторых вещей мы стыдимся, некоторых вещей мы боимся, некоторые вещи нам нипочем. И в результате, столько в нашей жизни выброшено или скрыто; а вместе с этим, ничто из нашей жизни не ушло; ни одно воспоминание, ни один поступок, ни одно слово, ни одна встреча, ни одно событие нашей жизни не изглажено: они все есть – только под спудом, за занавесом: мы не хотим их знать. И настает время, когда **приходится** встать лицом к лицу со **всем**, чего мы знать не хотим. Это будет еще задолго до того, как мы пройдем врата смертные и станем пред Богом. Это бывает так часто, когда слабеет воля, когда слабеет в нас способность исключать из ума, из воображения, из воспоминания то, чего мы не хотим вспомнить; когда

снами, воспоминаниями врывается наше прошлое, когда часы дремоты и сна делаются кошмаром, переплетом неразрешенных воспоминаний. Это так часто бывает в болезни, в бреду, в старости, в дремоте ослабленного тела и ума; и тогда, большей частью, мы с этим справиться не можем. Но теперь мы еще можем это сделать! Положим же немногие часы, которые перед нами сегодня, употребить на то, чтобы хоть боязливо заглянуть немножко глубже в себя самих и решиться жить внимательно; не только внимая прошлому, но начав вот теперь жить внимательно, чтобы ничто в жизни не прошло мимо нас и не кануло в те глубины наши, из которых рано или поздно оно поднимется чудовищем и страхом...

* *

В этой второй беседе я хочу сказать о чем-то совершенно ином, не продолжить утреннюю беседу, а перейти на совершенно иную тему. Большую часть нашего русского прихода можно назвать Русью уходящей; кажется, что с каждым годом нас меньше, мы все стареем, силы не прибавляются, а убывают. И так легко нам, русским, чувствовать и думать, что наше время если не прошло, то проходит, и нам остается только заканчивать свою жизнь, обеспечив ее, сколько возможно, молитвой, церковью, самым необходимым для жизни. Но так ли это?

Когда озираешься и смотришь на лица, которые заполняют наш храм, мне кажется, что есть два рода людей в нем: с одной стороны, есть приходящая Русь – небольшая группа русских людей и русской молодежи, которая дорожит своей русскостью, своим языком, историей России; которая хочет сохранить все драгоценное, что вынесено из недр прошлого русской эмиграцией. И, с другой стороны, есть еще большее число западных людей, молодых и среднего возраста, растерянных порой, которые потеряли опору в том Западе, где они родились и воспитывались, и которые находят ее в русском Православии.

И те из нас, кто принадлежит к старшему поколению, кто еще жив, призваны сделать последний вклад в жизнь; не уйти от жизни, а сделать последний вклад, чтобы жизнь продолжалась, чтобы она была исполнена всем богатством, которое страдание и радость создали в наших душах. Но для этого надо понять нечто большее, чем мы это делаем, о том, как мы стареем и что при этом мы можем дать тем, кто нас окружает; а те, кто молод, должны вдуматься в судьбу тех, кто стареет и не только помочь им стареть достойно, но не утратить последней возможности стать преемниками того, чего никогда больше не будет.

Можно стареть и ветшать; а можно еще при молодости обветшать и уже не принадлежать творческому миру. Старость приходит ко всем; но

она приходит в разное время. К одним она приходит через годы долгой жизни; к другим она приходит болезнью, разбитостью. И первый наш соблазн: сделать – я хотел сказать “все возможное”, но я должен был бы сказать “все невозможное”, чтобы удержать то, что уходит: телесные силы, здоровье, блеск живого ума, крепость... Страшно бывает видеть, как они постепенно уходят куда-то... И это большой соблазн, потому что сосредоточиться на том, чего нет, сосредоточиться на том, что убывает, чего не вернуть – самый верный способ задолго до смерти умереть заживо и перестать быть способным на творчество и на то, чтобы оставить наследие другим.

Один французский писатель, говоря о старости, пишет: стареющий человек, который возвращается к первому своему источнику, отходит от вещей временных и уходит в вещи вечные; и хоть виден огонь в глазах молодых, но в глазах старика можно увидеть свет... Вот на что мы должны быть готовы: превратить пламя жизни, огненный подход ко всему в жизни – в тихий свет. Если можно провести такое сравнение, мы должны перейти от слепящего света пасхальной ночи к тому тихому свету славы Божией, к свету невечернему, к свету, который никогда не угаснет, о котором мы поем на вечерне: *Свете тихий святыя славы Небесного Бога Отца...* Но для этого нужна решительность; нужно принять, что когда уходит одно, может, если мы только этого захотим, вырасти в нашей жизни другое. Перед словами, что есть огонь в глазах молодых и свет в глазах старых, говорится тоже, что по мере того как мы стареем, мы отходим от вещей временных, переходящих и вступаем в то, чтоечно и неотъемлемо. Вот на чем мы должны сосредоточить не только внимание нашей мысли, но весь слух, все внимание нашего сердца и нашего существа; не бояться того, что прежнее уходит, а прислушиваться к тому, что постепенно нарастает; не бояться, что шум временного и внешнего до нас доходит заглушен, все меньше и меньше, а прислушиваться к тому, как нарастает гармония вечной жизни.

Если бы мы старели одиноко, если бы никто вокруг нас не старел, то, может быть, было бы легче это сделать; но старость охватывает множество людей сразу и пресекает жизни, которые нам дороги, отнимает от нас драгоценную опору, без которой, нам кажется, мы не можем прожить. Чем дальше идут годы, тем меньше вокруг нас остается сверстников, тех, кто пережил одно и то же с нами, кто все с нами разделил, с кем нужды нет долгой речью объясняться: они все могут понять, потому что они все знают на собственном опыте.

И это – второе, что пугает большинство людей по мере того, как

приходит старость, одиночество: сознание, что человек стоит особняком, как высокий дуб в лесу, который высится над всеми, как гора, вершина которой так высока, что равной ей нет. И это мы можем превратить в творческое сознание; сознание одиночества может быть заменено сознанием, что теперь я стою лицом к лицу с вечностью и с Богом, и хоть на земле все уменьшается число тех, с кем я все делил и кто все мог понять, но в вечности находятся все, которые прошли тем же путем, что и я. Замирает внешний шум; впечатления извне становятся более тусклыми и редкими, но их может заменить сознание, что вечность раскрывается перед нами по-новому, разверзаются новые глубины, и мы идем в эту глубь, в глубь, где ни прошлое, ни будущее нас могло бы не тревожить, где мы могли бы жить всецело тем настоящим, в котором сливаются и будущее и прошлое, которое содержит в себе всю сущность прошлого и является живоносным источником будущего, не только временного, но и вечного.

Для этого нужна вера; но сначала не как уверенность, а как доверие. Когда мы говорим о вере, мы все мечтаем о той незыблемой уверенности, которую видим в писаниях апостолов и в жизни святых; но начало веры – это порой героическое доверие Богу, готовность принять Его слово за истину, потому что говорит Господь. Не потому что оно для нас, при нашей духовной незрелости, убедительно, а потому что сказал это Тот, Кто является Премудростью, и Истиной, и Жизнью – всем. Когда всё это у нас отнять, остается у нас то, что у каждого ребенка есть: способность доверчиво отдать себя, вручить себя; и здесь начинается подвиг веры, потому что едва ли кто из нас может сказать, что за долгую жизнь он так сердцем просветлен, так чист сердцем, что видит Бога, слышит Его слово ясно, и каждое Его слово – для него жизнь, и дух, и обновление. Мы видим, как через тусклое стекло, мы порой слышим голос Божий, как в Евангелии сказано о людях, слышавших свидетельство Господне о Христе, словно это гром: *раскаты слышим, слов не можем разобрать*. И требуется внимание, требуется очищение души, чтобы звук превратился в слово, а слово стало для нас жизнью и обновлением.

Но в этом нашем увеличивающемся одиночестве премудро устроил Господь, что нам как бы нет другого пути, кроме как вглядываться в вечность и прислушиваться к тому, что звучит из ее недр. Молодые годы, когда мы полны силы, жизни, мечты, творчества, мы бываем так легко ослеплены видимым, оглушенены тем, что слышно. Мне думается, что когда в псалме мы молимся, чтобы Господь нас освободил от "беса полуденного", мы молимся именно о том, чтобы мир, события, жизнь

потеряли свою густоту, стали прозрачными, чтобы мы не были ослеплены видимым, оглушены тем, что слышим; чтобы все оставалось и видимым и слышимым и вместе с этим было достаточно прозрачным, чтобы через все тварное видеть нетварное. Митрополит Филарет Московский говорил: если бы у нас было чистое сердце, если бы наш взор был чист, мы видели бы, как слава Божия светится и искриться на каждой Его твари, на каждой былинке, на каждом существе... Когда нас уже не так связывает с собой земля, должно нам быть легче вглядываться в эту славу и ее опознать; услышать вечное слово в дребезжании бесчисленных слов людских, видеть строй, нарастающий и поддерживающий все среди хаоса, который бросается в глаза, колет глаза.

И вот мы должны научиться свое одиночество превращать в предстояние перед Богом; предстоять перед Богом так, с такой напряженностью внимания, с таким благоговением, с таким ожиданием, которые сделали бы для нас возможным стояние среди мира, тогда как мы уже больше не от мира сего. Этот подвиг надо начинать рано в жизни: не тогда, когда ушли силы, не тогда, когда смятение уже вошло в душу, потому что мы не привыкли к вечности и от нас уходит время, а в ранние годы жизни, когда не страшно быть одному, когда не страшно отдавать жизнь за то, что стоит ее.

Но это ведь не только одиночество; Христос сказал, что, где сокровище наше, там и сердце наше будет. Самое драгоценное сокровище, конечно, Сам Господь, Сам Бог; но есть и другие сокровища, чистые, светлые: это любовь, которая нас связывает с теми, кто прежде нас ушел в вечность. Если бы мы действительно любили каждого уходящего от земли в вечную жизнь, то наша жизнь все больше и больше была бы там, где они, то есть в Боге. Мы просим и на отпевании, и на панихидах, чтобы была дана вечная память тем, кто ушел от нас; мы просим как бы, чтобы Господь их не забыл... Он-то не забудет! Но помним ли мы ушедших так, как переживаем их уход, когда они скончались? Не привыкаем ли мы к тому, что любимые ушли? – и не потому, что так крепка наша вера, а потому что мы озабочены стольким другим? О, конечно, мы продолжаем любить; но не с такой силой, не так реально. А вместе с тем, мы могли бы жить вечной жизнью через любовь к ним. И тогда, превратив пламя в свет, одиночество в предстояние, уход любимых в проложенный для нас путь в вечность, мы могли бы свободно, ничем не связано свою жизнь земную, еще не взятую от земли, отдать тем, которые должны строить Царство Божие на земле, тем, которые пришли после нас.

И здесь я возвращаюсь к тому, с чего я начал: многие из нас в том

положении, о котором я только что говорил; но являемся ли мы для тех, кто моложе, для тех, кто приходит, для тех, кому нужно свидетельство и живое творческое слово, преображающее, животворящее слово – являемся ли мы или нет этим негасущим светом, светом тихой, спокойной, уверенной и ласковой любви? Являемся ли мы свидетелями, что жив Господь, что я – Его, что Он мне дорог, что Он мне близок, что Он – моя жизнь, что Он – правда жизни, и единственная правда? Является ли наше присутствие среди людей живым доказательством, что все это так? Или же (потому что другого пути нет, нет третьего выхода) по мере того, как сковывают годы, мы являемся свидетелями того, что в жизни нет смысла, что для нас она прошла и мы остались опустельными, что пока бурлила жизнь, казалось, что мы живы, а теперь остается только пустота, только *доживание*, а не жизнь? Если таково наше свидетельство, то действительно страшно, потому что это значило бы, что мы прожили всю жизнь, питаясь мечтой, правда – перемешанной с реальностью, мечтой, через которую Господь пробивается к нам, но что мы Бога, жизнь, смысл упустили, а когда рассеялась мечта, остается только ветшающая плоть и угасающий ум. Этого мы не можем допустить!

Но что же тогда остается нам? Сердце, потому что плод жизни – любовь и благодарность. Все, о чем мы просили в молитве, все, что нам дано Провидением, когда-то было прошено, получено, но оно также прошло. Но что не должно проходить – и что проходит по нашей невнимательности к жизни, к дарам Божиим, к Его заботливости о нас, к содержанию самой нашей жизни – это благодарность, способность **никогда** не забыть ничего, что было добро, что было прекрасно, что было счастьем, что было вечностью. И любовь... Все в человеке может пройти, но ничто не может отнять у человека светящегося, любящего сердца. Человек может обветшать телом, потерять многое из своего сознания – и остаться светилом ласковой любви.

К этому мы должны стремиться не мечтой, мы должны к этому стремиться подвигом жизни. Подвигом в том смысле, что мы должны в себе побороть всё без остатка, что есть себялюбие, сосредоточенность на себе, всё, что делает жизнь такой же мелкой, как мы сами, сводит все к масштабам моего существования, моей выгоды, моего счастья. Первая заповедь, которая дана Христом: Если кто хочет за Мной следовать (и Он никого не принуждает: если только ты хочешь!), то отвернись от себя, не давай себе самому, своей жизни, своим заботам, своим желаниям стать между жизнью и тобой, между ближним и тобой, между Богом и тобой... Каждый раз, как перед лицом жизни тебе вспомниться твое “я”, каждый

раз, когда оно потребует в жертву что-то такое святое, великое, как любовь, как правда, ради твоего временного удовлетворения или для успокоения твоих страхов, скажи своему “я”: “Отойди от меня, сатана (т.е. противник Божий), ты думаешь о земном, а не о вечном; земное пройдет, и с этим земным пройдешь и ты ...”

Вот с чего надо начать. И как грустно думать, что почти всем из нас приходится начинать, когда уже прошли многие и многие годы... Потому что слова эти мы слышали сотни раз, но каждый раз говорили себе: да! немного позже! Вот когда я сделаю то или другое, вот когда я смогу отдать больше времени и сил вечности, я к этому приступлю... Но это не происходит, пока вдруг ни сил, ни возможности не остается. А вместе с тем, до последнего дня нашей жизни мы можем жить творчески, можем жить так, что через нас потоком в жизнь шла любовь и через нас светился Бог. Рассказывают о святом Иоанне Богослове, который прожил больше ста лет, что в конце своей жизни, когда он написал Евангелие, написал Книгу Откровения, написал свои Послания, от него осталось только любящее сердце, светящаяся душа, и единственное, что он мог сказать людям, которые приходили к нему, это: *Дети! Любите друг друга!*.. И это были не только слова, потому что люди в нем ощущали этот свет, эту ласку, эту любовь; он всем своим существом был проповедью той заповеди о любви, которую дал Господь.

И мы тоже можем, сколько бы ни было нам лет, от самых молодых до самых старых, жить так, чтобы в нас потоком вливалась вечность, чтобы Бог в нас жил, и чтобы то, что нам дает Господь, становилось достоянием всех, кому нужна Божия милость, Божия любовь. В начале эмиграции Бердяев писал, что он уверен, что мы рассеяны по лицу земли не случайно, а по мудрому и любовному промыслу Божиему. В те годы, которые были так тяжки для всех, это было слово смелое, мужественное и правдивое. Бог посыпает нас туда, где нужен свет, туда, где нужна любовь, где нужен мир, где нужно Его присутствие. И Господь нас послал в весь мир, чтобы из глубин русской трагедии, и личной и отечественной, мы принесли веру, надежду и крепость. Мы здесь живем, и вокруг нас, малого русского стада, все больше и больше собирается людей – почему? Потому что каким-то – скажу: непонятным – образом, не то что несмотря или помимо нас, но **сквозь** нас (не нас лично, а нас как Церкви) до них доходит свет Христов. И поэтому вдумаемся хоть напоследок нашей жизни в то, что мы можем сделать, в тот вклад, который мы можем вложить в судьбу той страны, той человеческой общины, которая нас приняла, приютила и которой мы должны дать самое светлое, лучшее и святое, что у нас есть. Русское

Православие, которое нам так дорого – не наша собственность, это дар Божий; и мы можем дать всем, каждому какую-то искорку, какой-то отсвет того, что нам дано так щедро, и часто так незаслуженно, без нашего труда.

Поэтому не станем бояться ничего, никого, а будем давать всей душой, всем умом, всей любовью, и окажется, что даем не мы, а Господь дает. И мы обнаружим, что каждый раз, когда мы даем, мы чувствуем, чуем, сознаем, что **Господь** в нас действовал, – а это такое чудо: дивное сознание, что Господь настолько близок, что Он творит в нас и мысль, и чувство, и действие...

Задумаемся сейчас хоть на короткое время над этим чудом: что какие мы ни есть слабые, тусклые, греховные, в совокупности нашей церковности, как в глиняном сосуде, мы несем то, без чего мир стоять не может: Бога. И что, вместе с этим, Сам Бог нас несет. И станем хоть напоследок великоложно, если нужно – жертвенно тем телом Христовым, тем организмом любви, которым Церковь призвана быть.

Примечания

¹ - Первое издание книги вышло в Москве в 1997 году и было подготовлено по заказу прихода храма святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, “что на Сивцевом Вражке”.

² - Митрополит Антоний Сурожский. “Быть православным в Англии...” (О Сурожской епархии) // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. 1995. №2 (5). С.101 – 102.

³ - Павел Николаевич Николай (†1919г.), основатель Русского студенческого христианского движения.

Содержание

Пути христианской жизни Антоний, митрополит Сурожский	1
От издателей	2
ПУТИ К БОГУ	4
О ПУТЯХ ВЕРЫ	9
ВНУТРЕННЕЕ МОЛЧАНИЕ	21
О ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ	36
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ХРИСТОВ	82
ВЕРА БОЖИЯ В ЧЕЛОВЕКА	97
ВОПРОШАНИЕ И СОМНЕНИЕ	110
ПОСЛЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЗНИ	124
О МОНАШЕСТВЕ	137
ГЛУБИНЫ ВЕЧНОСТИ	148
Примечания	159